Светлана Дворздова
Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 8

Светлана Дроздова

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 8

https://litres.ru/74048482
SelfPub; 2026

Аннотация

Отряд Эйнара, потеряв надежду в сделке с Хозяином зеркал, прорывается в Ущелье Чёрного Ворона, чтобы спасти Лиру — «Волчицу», чью память похитил таинственный Неизвестный. Их ведёт магический след, а лагерь наёмников, клетка с пленным, Чёрная река, не отражающая неба, и каменные костры становятся лишь преддверием крепости.

За стенами Тронного зала Лира прикована к трону из осколков — средоточию забытых имён. Эрик, бывший наместник Корвуса, превратившийся в хранителя пустоты, воскрешает тирана, питая трон памятью девушки. Освободив Лиру, Эйнар должен вызвать и убить своё отражение — двойника, рождённого из отданной надежды и страха.

Финальный поединок происходит без магии: простой сталью, называя имена близких. С уничтожением двойника трон взрывается, зеркала гаснут, а пустота впервые затихает. Лира спасена. Отряд, истекающий памятью и скверной, выбирается из рушащегося зала.

Это история о плате за надежду, о битве с собой — и о том, что даже когда ничего не остаётся, помнить.

Светлана Дроздова
Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 8

ГЛАВА 21. ЛИРЫ НЕТ

Часть первая. Пустое место

I

Эйнар проснулся не от холода, не от крика, не от того липкого, тяжёлого предчувствия, которое последние дни стало таким же привычным, как собственное дыхание. Он проснулся от отсутствия. Не тишины — тишина была всегда, плотная, как смола, как та настойка немоты, которую Хельга влила в него много лет назад. Отсутствие было другим: острым, почти физическим, как будто из мира вынули что-то, что должно было быть здесь, но исчезло, оставив после себя не пустоту — зияющую, кровоточащую дыру.

Он лежал на спине, глядя в чёрный, каменный потолок штольни, и не считал удары своего сердца. Раньше он считал всегда. Проверял, не пропустило ли оно очередной такт, не стало ли реже, не остановилось ли вовсе. Теперь сердце би-

лось ровно, спокойно, почти механически. Как у человека, который никогда не платил. Как у того, кто не носил в себе Стекло. Но он платил. Он носил. И сердце билось ровно только потому, что биться было почти нечем.

Правая рука, перевязанная чистой белой тканью, лежала поверх шерстяного одеяла. Ирис наложила повязку ещё вчера, когда они вернулись из восточной башни. Кожа на костяшках была содрана — не мечом, не осколком, а собственными ударами о протез неизвестного, когда он пытался удержать Лиру. Повязка была белой, но Эйнар знал: под ней, на бинтах, уже проступили тёмные, маслянистые пятна. Не кровь — что-то другое. Что-то, что не хотело сворачиваться, не хотело сохнуть, не хотело исчезать. Память о том, что он не успел.

Левая рука, скрытая протезом из обсидиана и старой кожи, покоилась на груди. Протез был чёрным, маслянистым, пустым. Он не блестел, не отражал свет, не притягивал взгляда. Тоомас сковал его за одну ночь — лёгкий, прочный, почти невидимый в темноте. «Он не даст тебе силы, Пророк, — сказал тогда кузнец. — Но он не даст тебе забыть, что ты заплатил. Каждый раз, когда ты поднимешь эту руку, ты вспомнишь, чего она стоила. Это не подарок. Это напоминание».

Эйнар помнил. Он помнил всё. Каждое имя, каждое лицо, каждую смерть. И свою руку. И свою надежду, которую отдал Хозяину зеркал. И Лиру.

Особенно Лиру.

Он повернул голову. Рядом, на лежанке из еловых веток и старого плаща, никого не было. Ирис спала в другом конце штольни, у повозки с ранеными — она провела там всю ночь, вливая в умирающих последние отвары из сушёных трав, которых оставалось всё меньше. Эйнар не звал её. Не хотел. Он должен был привыкнуть к тому, что её нет рядом. Что её никогда больше не будет рядом. Что она ушла туда, откуда не возвращаются. Или возвращаются, но уже не теми. Или возвращаются, но не помнят, зачем уходили.

Он сел, опираясь на правую руку. Колени не дрожали. Пальцы ног, босые, коснулись холодной, влажной земли, и он не отдёрнул их — принял холод как данность, как напоминание о том, что он жив, а живое чувствует. Но чувствовал ли он? Он не знал. Он знал только, что его тело двигается, дышит, сжимает кулаки. А внутри — ничего. Пустота. Не та, абсолютная, всепоглощающая, которая жила в колодце, а другая — человеческая. Пустота того, кто перестал надеяться. Кто помнит, что такое надежда, но не чувствует её.

Пальцы правой руки, сжатые в кулак, что-то зажали. Эйнар разжал их медленно, осторожно, как будто боялся, что то, что он держит, рассыплется при первом же движении.

Клочок ткани. Серый, потёртый, с волчьей головой на нашивке. Край был рваным — он оторвал его от рукава Лиры, когда неизвестный утягивал её в зеркало. Ткань была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, Эйнар чувствовал не пустоту — память. Память о ней. О том, как она смеялась. О том, как она плакала. О том, как она держала меч.

Он поднёс клочок к лицу, вдохнул. Ткань пахла железом, потом и ещё чем-то — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом пустоты. Но в этом запахе, в этом ожидании, в этой пустоте, он слышал не страх — её голос. «Я не боюсь пустоты, — сказала она однажды, когда они сидели у костра, и огонь отражался в её единственном глазу. — Пустота боится меня. Потому что я помню. Потому что я не сдаюсь. Потому что я — «Волчица»».

Она не сдалась. Даже когда неизвестный коснулся её лица. Даже когда её тело стало гладким, как стекло, как лёд, как пустота. Она назвала имя брата. Она попыталась удержаться.

Она боролась. Она не сдалась никогда.

А он не удержал.

Эйнар спрятал клочок за пазуху, туда, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно. Но билось. Он будет помнить. Он всегда помнил. Даже когда память умирала. Даже когда имя исчезало. Даже когда пустота звала. Он помнил.

II

Тоомас стоял у входа в восточную башню, когда Эйнар пришёл туда. Кузнец не спал всю ночь — его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали чёрные, маслянистые жилки. Скверна не ушла, она затихла. Ждала. Как всё в этом мире. Как пустота. Как память. Он опирался на молот, и его руки — огромные, обожжённые, покрытые шрамами и ожогами — дрожали. Не от холода — от усталости. От той глухой, беспросветной усталости, которая бывает у людей, которые слишком долго несли слишком тяжёлое бремя.

— Ты пришёл, — сказал Тоомас, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. Но в этом голосе, в этой ровности, в этом

спокойствии, была боль. Не физическая — метафизическая. Боль человека, который не смог защитить. Который не успел. Который не заплатил.

— Я пришёл, — ответил Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была пустота. Не та, которую он носил в себе с рождения, а та, которую он приобрёл после сделки с Хозяином. Пустота того, кто перестал надеяться.

Они вошли в башню вместе. Свет факелов — тусклый, умирающий — едва освещал стены, покрытые чёрной, маслянистой слизью, которая блестела, как зеркало, как лёд, как пустота. Стена, где вчера было зеркало, стояла на месте. Серая, маслянистая, мёртвая. Ни трещины, ни намёка на бывшую дверь. Только камень. Только пыль. Только тишина.

Эйнар подошёл к стене, остановился в шаге. Положил правую руку на камень — поверх повязки, поверх содранной кожи, поверх памяти. Камень был холодным — не просто холодным, а абсолютно холодным, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. Он не отдёрнул руку. Он держал. Крепко. Надёжно. Как обещание.

— Она не откроется, — сказал Тоомас, и он опустился

на корточки, провёл пальцами по полу у основания стены. Пальцы были чистыми — ни пыли, ни грязи, ни маслянистой слизи. Только холод. Который не проходил. — Я знал об этом зеркале много лет назад. Когда только пришёл в эти штольни. Оно было маленьким, тусклым, вмазанным в стену у самого пола, заваленным камнями. Я хотел разбить его. Испугался. Думал: если не трогать — умрёт само. Засохнет. Исчезнет. Но оно не умерло. Оно ждало. Оно всегда ждёт. У него есть время. Вечность.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола. Эйнар смотрел на стену, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было гнева. Не было обиды. Не было усталости. Было что-то другое. Понимание.

— Ты испугался, — сказал Эйнар, и это был не вопрос — утверждение.

— Испугался, — ответил Тоомас, и он поднял голову, посмотрел на Эйнара. В его белых глазах — без зрачков, без цвета — была вина. Тяжёлая, глухая, почти невыносимая. — Я испугался, Пророк. Испугался того, что зеркало откроется. Испугался того, что за ним. Испугался того, что я не смогу закрыть его. И я не закрыл. Я спрятал его в памяти. Похоронил. Забыл. А оно ждало. И дождалось.

Эйнар молчал. Долго. Так долго, что Тоомас начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом Эйнар медленно убрал руку от стены. Повязка на костяшках набухла кровью — тёмной, густой, почти чёрной. Он не обратил на неё внимания.

— Ты не виноват, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Ты испугался. Я тоже боялся. Все мы боимся. Пустота не прощает страха, но она не наказывает за него. Она просто ждёт. У неё есть время. Вечность. А у нас — только этот день. И следующий. И, может быть, ещё один. Ты не разбил зеркало тогда. Я не удержал Лиру вчера. Мы оба не заплатили вовремя. Теперь поздно. Не потому, что мы виноваты. Потому, что у нас нет времени на вину. Только на память.

Он повернулся и пошёл к выходу. Тоомас остался стоять у стены, сжимая молот так, что костяшки побелели, и его белые глаза — без зрачков, без цвета — смотрели вслед Эйнару. В них не было страха. Была усталость. Такая же, как у Эйнара. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая.

— Прости, — прошептал Тоомас, когда Эйнар уже скрылся в темноте коридора. — Прости, Пророк. Я не спас её. Не смог. Не успел. Не заплатил.

Но Эйнар не услышал. Или услышал, но не ответил. Какая разница?

III

В главном зале штольни, у потухшего горна, уже собирались люди. Лис стояла у карты, нарисованной углём на бересте — грубой, схематичной, но узнаваемой. Единственный глаз её — живой, острый, почти хищный — сверкал в свете тусклых факелов, как уголь, как лезвие, как надежда. Но надежды в этом взгляде не было. Было напряжение. То самое, которое бывает у зверя, когда он чует опасность, но не знает, откуда она придёт.

Рагнар сидел на камне, сжимая в правой руке меч — длинный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью. Левая рука, перевязанная после боя в ущелье, всё ещё болела, но он не жаловался. Жаловаться было некому. И незачем. Его лицо — грубое, обветренное, с глубоким шрамом через левую щёку — было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не смотрел на карту. Он смотрел на стену. Там, за стеной, была восточная башня. Там, в восточной башне, была стена. А за стеной — Лира. Или не Лира — тень. Или не тень — пустота. Какая разница?

Ворн стоял у входа в зал, прислонившись плечом к холодному, шершавому камню, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не спал. Никогда не спал, когда отряд терял кого-то. Спать, когда твои люди умирают, — значит умереть вместе с ними. Он знал это. Он помнил это. Он жил с этим.

Ирис сидела у повозки с ранеными, её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не жаловалась. Не останавливалась. Она промывала раны, меняла повязки, вливала в рот раненым отвары из сушёных трав, которых оставалось всё меньше. Трое «Волков» лежали на повозке — у двоих скверна поднялась выше пояса, чёрные, маслянистые жилки пульсировали под кожей, как живые, как голодные, как пустота. Ирис делала всё, что могла. Но она знала: этого мало. Этого всегда мало.

Альрик сидел у стены, привалившись спиной к холодному, шершавому камню, и держал на коленях пустой мешок из-под пыли Стекла. Мешок был старым, кожаным, перетянутым ремнями. Ремни он перевязывал каждое утро, проверяя, не ослабли ли. Теперь ремни были затянуты, но мешок не держал форму — он висел, как старая, пустая кожа, как

сброшенная змеиная шкура, как память, которая умерла, но не хочет исчезать. Пыль рассыпалась во время взрыва, разлетелась по ветру, исчезла, как исчезает имя, когда некому его помнить. Но Альрик слышал — нет, не пение, не шёпот, не дыхание. Вибрацию. Слишком слабую, чтобы быть уверенным. Слишком тонкую, чтобы понять, откуда она идёт. Слишком чужую, чтобы доверять ей.

Эйнар вошёл в зал, и все повернулись к нему. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, было что-то ещё. Не надежда — память о надежде. Тонкая, хрупкая, почти невидимая, как трещина в Первом Зеркале, но она была. Которая держала его. Которая не давала ему упасть.

— Мы нашли след, — сказал он, и это был не вопрос — утверждение.

— Да, — ответила Лис, и она подошла к карте, провела пальцем по линии, которую начертила углём. — На восточном выходе. За дренажным лазом. Отпечатки ног. Босые. Мелкие. Её.

Она замолчала. Тишина стала плотной, как смола. Рагнар поднял голову, посмотрел на Лис, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была надежда. Хрупкая, тонкая, почти невидимая, как трещина в Первом Зеркале, но она была. Которая держала его. Которая не давала ему упасть.

— Ты уверена? — спросил он, и его голос дрогнул — впервые за много дней, впервые с тех пор, как он взял в руки меч.

— Уверена, — ответила Лис, и её единственный глаз сверкнул. — Я знаю её походку. Знаю, как она ставит ноги. Как переносит вес. Это она. Но след странный. Неестественный. Следы неглубокие, но чёткие, как будто она шла по камню, не касаясь его. Иногда пропадают на десяток шагов, а потом появляются снова. Как будто её несли. Или вели.

— Кто вёл? — спросил Ворн, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице.

— Не знаю, — ответила Лис, и она покачала головой. — Но след ведёт на юго-запад. В земли Ущелья Чёрного Ворона.

Альрик поднял голову, услышав это название. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

— Ущелье Чёрного Ворона, — повторил он, и его голос был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Там нет ничего. Только старая крепость. Разграбленная. Сожжённая. Забытая. Даже Корвус обходил её стороной. Говорили, что там живут тени. Не двойники — другие. Те, кто не отражается. Те, кто не помнит. Те, кто ждёт.

— Ждёт чего? — спросила Ирис, и она оторвалась от повязок, посмотрела на Альрика. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — была тревога. Не страх — тревога. Она знала, что это место опасное. Знала, что они пойдут туда. Знала, что многие не вернутся.

— Ждёт, — ответил Альрик, и он опустил голову. — Не знаю. Может быть, нас. Может быть, её. Может быть, никого. Какая разница?

Часть вторая. Невозможный след

IV

Лис ушла на разведку одна, без спутников. Она не хотела, чтобы кто-то топтал след, не хотела, чтобы кто-то мешал ей слушать тишину, не хотела, чтобы кто-то отвлекал её от запаха, который она чуяла с самого утра. Запах был сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом пустоты. Но этот запах был не мёртвым, не выветрившимся — живым. Свежим. Горячим. Как будто пустота только что прошла здесь, только что дышала этим воздухом, только что касалась этих стен.

Она шла быстро, почти бегом, и её шаги были тихими, почти бесшумными. Единственный глаз сканировал пол, стены, потолок. Она искала след. Не тот, который оставляют обычные люди — чёткий, глубокий, с рисунком подошвы. Другой. Тот, который оставляет тот, кто уже не человек. Тот, кто между. Между памятью и забвением. Между именем и пустотой.

Она нашла его у старого дренажного лаза, того самого, через который они с Лирой пробирались в Монастырь перед взрывом. Лаз был пуст — ни теней, ни двойников, ни псов. Но запах был сильнее здесь. Он исходил из-под камней, из щелей между плитами, из самой земли. Лис опустилась на корточки, провела пальцами по полу. Пальцы были холодными — не просто холодными, а абсолютно холодными, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота.

Она отдёрнула руку, посмотрела на пальцы. Они были чистыми. Ни пыли, ни грязи, ни маслянистой слизи. Только холод. Который не проходил.

Потом она увидела следы. Они были мелкими, неглубокими, вдавленными во влажную землю с той странной, почти неестественной чёткостью, которая бывает у людей, которые идут во сне, или под гипнозом, или когда их ведут. Отпечатки босых ног — маленьких, узких, с длинными пальцами. Лира никогда не ходила босиком. Даже в лагере, даже на привале, даже когда все снимали сапоги, она оставалась в них. Спала в них. Ела в них. Сражалась в них. Сапоги были частью её, как меч, как нож, как чёрная повязка на правом глазу.

Лис провела пальцем по краю следа, не касаясь его. Земля была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной. Но след не осыпался. Не расплывался. Держал форму, как будто его оставили не час назад — минуту. Или секунду. Или сейчас.

«Она здесь, — подумала Лис, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Она была здесь. Несколько часов назад. Её вели. Она не сопротивлялась. Или не могла сопротивляться. Или уже не хотела».

Лис поднялась, стряхнула с коленей налипшую грязь. Посмотрела на след. Он вёл не в штольни, не к Монастырю, не к перевалам. Он вёл на юго-запад. В сторону, где за скалами, за лесами, за границей пустоты, лежало Ущелье Чёрного Ворона.

Она пошла по следу, не оборачиваясь.

V

След вёл через осыпи, через сухие русла ручьёв, через узкие, тёмные расщелины, где даже в полдень царила тьма. Лис шла быстро, но осторожно, не поднимая шума. Единственный глаз её сканировал землю, камни, стены. Она не смотрела по сторонам — она смотрела под ноги. След не исчезал, но становился страннее. Иногда отпечатки ног Лиры пропадали на десяток шагов, а потом появлялись снова — ровные, чёткие, как будто время между ними вырезали ножом.

«Её несут, — подумала Лис, и сердце её забилось быстрее. — Или она летит. Или она уже не касается земли».

Она остановилась у края неглубокого оврага, посмотрела вниз. На дне, среди камней и сухой, колючей травы, лежал ещё один след. Но не отпечаток ноги — тень. Чёрная, маслянистая, почти живая. Она не принадлежала Лире. Она бы-

ла длинной, тонкой, с неестественными пропорциями. Тень неизвестного. Того, кто забрал Лиру. Того, кто коснулся её лица. Того, кто утянул её в зеркало.

Лис опустилась на корточки, провела пальцами по тени. Пальцы прошли сквозь неё, как сквозь дым, как сквозь тьму, как сквозь пустоту. Тень не исчезла — она только колыхнулась, как вода, как время, как память.

«Они идут вместе, — поняла Лис. — Не раздельно. Вместе. Он ведёт её. Она идёт за ним. Не сопротивляется. Не плачет. Не зовёт на помощь. Она идёт, потому что не может остановиться. Потому что он забрал её память. Потому что она забыла, кто она. Или не забыла — но не помнит. Какая разница?»

Лис поднялась, стряхнула с пальцев холод. Тень на дне оврага исчезла, как только она отвела взгляд. Или не исчезла — спряталась. Или не спряталась — ушла дальше. Какая разница?

Она пошла обратно, в штольни, к Эйнару. След остался позади. Но она помнила его. Каждый отпечаток. Каждую тень. Каждый холодный камень.

VI

Эйнар выслушал Лис молча, не перебивая, не задавая вопросов. Сидел на камне у потухшего горна, его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— След ведёт на юго-запад, — сказала Лис, и её голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — В Ущелье Чёрного Ворона. Я не пошла дальше — слишком опасно одной. Но след свежий. Ей не больше восьми часов. Может быть, меньше.

— Она жива? — спросил Рагнар, и его голос дрогнул. Он стоял в трёх шагах от Эйнара, сжимая меч так, что костяшки побелели. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

— Не знаю, — ответила Лис, и она покачала головой. — Я не видела её. Только следы. Но следы странные. Неестественные. Как будто её ведут. Или несут. Или она уже не человек.

Альрик поднял голову от пустого мешка. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые

жилки, как трещины на старом льду.

— Ущелье Чёрного Ворона, — повторил он, и его голос был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Там есть старая крепость. Её построили ещё до Корвуса, до Стекла, до пустоты. В ней жили те, кто не хотел отражаться. Те, кто замуровал все зеркала в своих домах. Те, кто боялся не врагов — собственных теней. Говорят, они ушли в горы, когда пустота пришла. Или не ушли — остались. Или не остались — исчезли. Какая разница? Крепость стоит до сих пор. Пустая. Тёмная. Холодная. Даже звери обходят её стороной.

— Ты был там? — спросил Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Нет, — ответил Альрик, и он покачал головой. — Но я слышал. Пыль Стекла пела об этом месте. Не громко — тихо. Далёко. Почти не слышно. Но пела. Она пела о том, что там нет отражений. Совсем. Ни в камне, ни в металле, ни в воде. Только тьма. Только память. Только имя, которое исчезает.

Эйнар смотрел на карту, начерченную углём на бересте. Ущелье Чёрного Ворона было обозначено косой чертой — Альрик когда-то сказал, что туда лучше не ходить. Крепость — чёрным квадратом в центре ущелья. Ни дорог, ни троп, ни##. Только камни. Только пыль. Только пустота.

— Я пойду, — сказал он, и это был не вопрос — утверждение.

Часть третья. Клятва у стены

VII

Ворн шагнул вперёд, его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была не ярость — усталость. Такая же, как у всех. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая.

— Ты не должен туда идти, Пустой, — сказал он, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Мы только что вышли из этого ада. Мы потеряли Лиру. Мы потеряли двух «Волков» ночью — их нашли мёртвыми у восточного выхода, с пустыми глазами и выжженной памятью. У нас нет воды на неделю. Нет еды на три дня. Нет лекарств даже для своих. А ты хочешь идти в Ущелье? За призраком? За тенью? За той, кто уже не человек?

— Она человек, — сказал Рагнар, и его голос дрогнул. —

Она была человеком. И осталась. Даже если её память выжгли. Даже если её тело стало гладким, как стекло. Она назвала имя Бьорна, когда неизвестный касался её лица. Она боролась. Она не сдалась. А ты хочешь бросить её? Как бросают раненых, когда не могут нести? Как бросают мёртвых, когда некому их хоронить? Я не брошу. Я — «Волк». Волки не бросают своих.

— Мы не бросаем, — ответил Ворн, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Но мы не должны умирать все. Если вы пойдёте в Ущелье — вы умрёте. Не сегодня — завтра. Не завтра — через неделю. Но умрёте. А кто тогда пойдёт к перевалам? Кто предупредит союзников? Кто расскажет им о пустоте, о двойниках, о Хозяине зеркал? Кто?

— Ты, — сказал Эйнар, и он поднялся, опираясь на правую руку. Повязка на костяшках набухла кровью, но он не обратил на это внимания. — Ты пойдёшь к перевалам. Ты возьмёшь раненых. Ты возьмёшь Тоомаса, если он согласится. Ты пойдёшь к союзникам и расскажешь им всё. О пустоте. О двойниках. О Хозяине зеркал. О том, что мы сделали. О том, что мы не сдались. Ты будешь нашей памятью, Ворн. Нашим именем. Нашей надеждой. А мы пойдём в Ущелье. За Лирой.

Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и он отвернулся, пошёл проверять повозки. — Иди. Но возвращайся. Или не возвращайся — но не заставляй нас ждать слишком долго. У нас нет времени на вечность. У нас есть только этот день. И следующий. И, может быть, ещё один.

VIII

Эйнар решил разделить отряд.

Ворн с десятью «Волками» и ранеными остаётся в штольнях Тоомаса. Они будут ждать три дня — если Эйнар не вернётся, пойдут к перевалам, к союзникам. Ирис сначала отказалась оставаться: «Я не брошу тебя. Я пойду с тобой. Я нужна там — бинты, мази, отвары. Раненые понадобятся. Ты понадобишься».

Эйнар не спорил. Не уговаривал. Не приказывал. Он посмотрел на неё, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — было что-то, чего она не видела раньше. Не гнев, не обиду, не усталость. Просьбу.

— Ты нужна мне, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была просьба. Не приказ — просьба. — Не здесь — там. В Ущелье. Если Лира ещё жива — ей понадобится целитель. Если она не жива — мне понадобится тот, кто помнит, как держать за руку. Иди со мной, Ирис. Пожалуйста.

Она смотрела на него долго, изучающе. Потом медленно кивнула — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, — сказала она, и она взяла его за правую руку — живую, тёплую, настоящую. — Я пойду с тобой. Всегда. Пока ты идёшь. Пока ты помнишь. Пока ты не сдаёшься.

В итоге в малый отряд вошли: Эйнар, Ирис, Лис, Рагнар, Эйрик, Орм и восемь отборных «Волков» — те, кто мог ещё держать оружие, кто не боялся темноты, кто не спрашивал, зачем они идут. Они знали. Не спрашивали. Просто готовились.

Тоомас вышел их проводить. Он нёс три последние шашки «Канопы» — тяжёлый, маслянистый дым, который висит четверть часа и душит отражения. Он отдал их Эйнару, и его

руки — огромные, обожжённые, покрытые шрамами и ожогами — дрожали.

— Они тебе понадобятся, Пророк, — сказал Тоомас, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — В Ущелье нет зеркал, но есть тени. Тени, которые не отражаются. Дым слепит их. На время. На четверть часа. Успей за это время сделать то, зачем идёшь. Или не успей — но попытайся. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он спрятал шашки за пазуху, туда, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно. Но билось.

IX

Перед выходом Эйнар вернулся к стене в восточной башне. Один. Никто не пошёл за ним. Даже Ирис осталась у входа, не решаясь нарушить его молчание.

Он стоял перед серым, маслянистым, мёртвым камнем, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. Но в этом холоде, в этой

глубине, в этом ожидании, было что-то ещё. Не надежда — память о надежде.

Он вынул обсидиановый клинок. Чёрная сталь блеснула в свете тусклого факела, который он принёс с собой. Клинок был чистым — ни пыли, ни крови, ни памяти. Только холод. Только пустота. Только ожидание.

Эйнар сделал надрез на правой ладони — поверх вчерашних ран, поверх повязки, поверх памяти. Кровь потекла по пальцам — тёмная, густая, почти чёрная. Она капала на каменный пол, на серую, маслянистую пыль, и пыль впитывала её, как губка, как пустота, как забвение.

— Я не надеюсь вернуть тебя, — сказал он, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Хозяин зеркал забрал мою надежду. Я не чувствую её. Только помню. Я помню, как ты училась держать меч. Как ты падала, вставала, падала снова. Как ты сказала: «Я не боюсь пустоты. Пустота боится меня». Ты была права. Пустота боялась тебя. Потому что ты помнила. Потому что ты не сдавалась. Потому что ты была человеком.

Он поднял руку, и кровь капнула на стену. Капля — тёмная, густая, почти чёрная — потекла по серому камню, не впитываясь, не исчезая. Она оставила след. Тонкий, тёмный,

почти незаметный. Но след.

— Я клянусь, — сказал Эйнар, и его голос стал твёрже, почти стальным. — Я пойду по твоему следу. Найду тебя. Или узнаю, что с тобой стало. Даже если для этого придётся войти в зеркало вслед за неизвестным. Даже если за ним — только пустота. Даже если я не вернусь. Я клянусь. Памятью. Именем. Кровью.

Он убрал клинок, зажал рану левой рукой — протезом, чёрным, маслянистым, пустым. Протез не чувствовал боли. Не чувствовал тепла. Не чувствовал ничего. Но он держал. Крепко. Надёжно. Как обещание.

На секунду ему показалось, что стена ответила. Не звуком — светом. Слабым, тёплым, почти живым. Он не был уверен. Может быть, ему показалось. Может быть, это факел дрогнул. Может быть, это память сыграла с ним шутку.

Но он прошептал:

— Жди. Я иду.

И ушёл.

Часть четвёртая. Память о надежде

X

Отряд выступил к вечеру, когда солнце уже клонилось к закату. Небо было багровым — не кровавым, а тёплым, почти живым. Оно не съедалось тьмой. Не впитывалось зеркалами. Не исчезало в пустоте. Оно просто светило. Как всегда. Как будто ничего не случилось. Как будто вчера не было двойников, и теней, и псов, и пыли, которая пела. Как будто мир не умирал, а просто спал. И наконец проснулся.

Эйнар шёл первым. Его шаги были быстрыми, уверенными, почти лёгкими. Он не опирался на посох — обсидиановый клинок был закреплён на поясе, в новой, обсидиановой же ножне. Левая рука, скрытая протезом, висела вдоль тела — чёрная, маслянистая, пустая. Она не болела. Не давила. Не напоминала о себе. Она была частью Эйнара. Как шрам. Как имя. Как память, которая умирала, но не хотела сдаваться.

За ним шла Ирис. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не останавливалась. Не жаловалась. Не просила помощи. Она шла, потому что если она остановится — он уйдёт без неё. А уходить без неё он не имел права.

За ней — Лис, Рагнар, Эйрик, Орм, восемь «Волков». Они шли молча, и их шаги были тихими, почти бесшумными. Только дыхание. Только запах пота и старой кожи. Только тишина. Та самая, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

Лагерь разбили у подножия скал, на границе леса, когда солнце уже село и небо стало тёмным, почти чёрным. До Ущелья Чёрного Ворона оставался ещё день пути. Может быть, полтора. Эйнар не знал. Он знал только, что они должны идти. Потому что если не они — никто. Потому что если не сейчас — никогда.

XI

Ночью, когда лагерь затих, а люди уснули — кто в палатках, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла, — Эйнар сидел у камня, глядя на юго-запад, туда, где за горами, за лесами, за границей пустоты, ждало Ущелье Чёрного Ворона. Он не спал. Не мог. Слишком много мыслей, слишком много страха, слишком много вопросов, на которые не было ответов.

Ирис сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она

не спала. Не могла. Но она не говорила. Она просто сидела, и её плечо касалось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару становилось тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память. Память о тех, кто остался. О тех, кто не сдался. О тех, кто всё ещё дышал.

— Ты правда веришь, что она там? — спросила Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Я верю в след, — ответил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть сомнения. Тяжесть страха. Тяжесть памяти. — Я верю в то, что она назвала имя Бьорна, когда неизвестный касался её лица. Она боролась. Пока она боролась — она была человеком. Может быть, ещё есть время.

— А если нет? — спросила Ирис, и она подняла голову, посмотрела ему в глаза. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — была тревога. Не страх — тревога.

— Тогда я узнаю, во что её превратили, — ответил Эйнар, и он сжал её руку — правую, живую, тёплую. — И помогу ей

исчезнуть по-человечески. Не как тени. Не как отражению. Не как пустоте. Как Лире. Как «Волчице». Как той, кто не сдалась.

Она сжала его руку в ответ. И в этом переплетении, в этой тесноте, в этой боли, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память.

XII

Лис и Эйрик ушли в ночную разведку к ущелью, когда луна скрылась за облаками и стало темно, как в Нижнем Колодце, как в пустоте, как в конце всего. Они двигались бесшумно, как тени, как призраки, как память. Их следы на влажной земле были едва заметны — только для того, кто знал, куда смотреть.

Они вернулись через несколько часов, когда небо на востоке начало светлеть — не рассветом, той бледной, болезненной желтизной, которая не обещает тепла, только напоминает, что ночь кончилась, а тяжесть осталась. Их лица были бледными, почти прозрачными, и в глазах — единственном глазу Лис и тёмных, живых, человеческих глазах Эйрика — было напряжение. То самое, которое бывает у зверя, когда он чует опасность, но не знает, откуда она придёт.

— Ущелье пустое, — сказала Лис, и её голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — Ни двойников. Ни теней. Ни псов. Ничего. Только камни. Только пыль. Только тишина. Но крепость стоит. Я видела её издалека. Чёрные стены, узкие окна, высокие башни. Она не выглядит разрушенной — она выглядит спящей. Как будто ждёт. Как будто знает, что мы придём.

— Ты видела следы? — спросил Рагнар, и его голос дрогнул.

— Да, — ответил Эйрик, и он кивнул. — Следы Лиры. Они ведут прямо к крепости. К главным воротам. Она не сворачивала. Не пряталась. Не пыталась убежать. Её вели. Или она уже не хотела убегать.

Эйнар смотрел на юго-запад, туда, где за горами, за лесами, за границей пустоты, ждало Ущелье Чёрного Ворона. Ждала крепость. Ждала Лира. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

— Завтра мы идём туда, — сказал он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Все. Не оставляем никого. Если она там — мы вернём её. Если её там нет — мы узнаем, куда её увели. И пойдём

дальше. Потому что если не мы — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что я — Эйнар. Зеркальный Пророк. И я не сдаюсь.

XIII

В полночь, когда луна выглянула из-за облаков — бледная, холодная, почти мёртвая, — Эйнар увидел их.

Две тени на дальнем гребне.

Одна была длинной, тонкой, с неестественными пропорциями. Та самая, которую он видел в зале у горна, когда неизвестный вышел из зеркала. Та самая, которая касалась лица Лиры. Та самая, которая забрала её память. Она стояла неподвижно, и её чёрный плащ не колыхался на ветру — он висел, как висит знамя в безветренном зале, как саван над могилой, как память над забвением.

Рядом с ней — вторая тень. Хрупкая, сбитая, с чёрной повязкой на правом глазу. Лира. Она стояла, как вкопанная, и её лицо было бледным, почти прозрачным в свете луны. Но в этом лице, в этой бледности, в этой прозрачности, Эйнар не узнал её. Не потому, что она изменилась — потому, что в ней не было того, что делало её Лирой. Не было огня в единственном глазу. Не было напряжения в плечах. Не было

того, как она держала голову — чуть набок, как будто прислушивалась к чему-то, чего не слышали другие.

Она стояла прямо. Глаза её были открыты, но они были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками. Как у двойника. Как у тени. Как у пустоты.

Эйнар смотрел на неё, и в его груди — там, где раньше билось сердце, а теперь пульсировала пустота — что-то шевельнулось. Не боль — память о боли. Он вспомнил, как она училась держать меч. Как она падала, вставала, падала снова. Как она сказала: «Я не боюсь пустоты. Пустота боится меня».

Теперь пустота не боялась её. Теперь пустота держала её за руку.

— Лира, — прошептал он, и имя это прозвучало не как вопрос — как молитва.

Тени не ответили. Не двинулись. Не исчезли. Они стояли на гребне, смотрели на лагерь, на Эйнара, на его спящую фигуру, сжатую в кресле у потухшего костра. Они не двигались. Не дышали. Не ждали. Они просто были. Как пустота. Как память. Как имя, которое исчезает.

А потом — они исчезли. Растворились в темноте. Стали

ничем. Как и те, кому они принадлежали. Только холод на затылке остался. И тишина. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

XIV

Эйнар не спал до рассвета. Сидел, сжимая в правой руке клочок ткани от рукава Лиры, и смотрел на юго-запад, туда, где за горами, за лесами, за границей пустоты, ждало Ущелье Чёрного Ворона. Ждала крепость. Ждала Лира. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

Перед глазами его не было надежды — Хозяин зеркал забрал её, заплатив за запечатывание колодца. Но была память. Память о надежде. О том, как она грела. О том, как она вела. О том, как она шептала: «Ты сможешь. Ты победишь. Ты выживешь».

Он не чувствовал её. Но помнил. И этого было достаточно, чтобы идти.

Ирис спала рядом, положив голову ему на плечо. Её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она держала его. Не давила — держала. Как человек держит человека. Как память держит имя. Как надежда держит тех, кто не сдаётся.

И этого было достаточно.

Утром — в путь.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 21

ГЛАВА 22. ФОРСИРОВАННЫЙ МАРШ

Часть первая. Кости и сталь

I

Лагерь у подножия скал проснулся не от крика — от холода. Не того, привычного, северного, который пробирается под одежду, как змея, и сворачивается кольцами у позвоночника. Холод был другим: глубинным, идущим не снаружи — изнутри. Из камней, из пыли, из той самой чёрной, маслянистой памяти, которая осталась после того, как Хозяин зеркал забрал надежду Эйнара. Он лежал на дне лагеря, как туман, как предчувствие, как имя, которое стирают с могильной плиты, но оно всё ещё различимо, если смотреть под определённым углом.

Эйнар не спал. Он уже не спал вторую ночь подряд, и это перестало быть событием — его бессонница стала такой же

привычной, как тяжесть протеза на левом плече, как тихое, едва уловимое пульсирование пустоты там, где раньше была надежда. Он сидел на плоском камне у потухшего костра, прислонившись спиной к холодному, шершавому валуну, и смотрел на юго-запад. Там, за горами, за лесами, за границей пустоты, ждало Ущелье Чёрного Ворона. Ждала крепость. Ждала Лира. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

Правая рука, перевязанная чистой белой тканью, лежала на обсидиановом клинке, который он положил поперёк колен. Клинок был чёрным, маслянистым, почти не отражающим свет. Он не блестел в сером предрассветном полумраке — он впитывал его, превращал в пустоту, в ожидание, в память. Ирис сменила повязку ещё вчера вечером, перед тем как они разбили лагерь. Кожа на костяшках была содрана — не мечом, не осколком, а собственными ударами о протез неизвестного, когда он пытался удержать Лиру. Повязка была белой, но Эйнар знал: под ней, на бинтах, уже проступили тёмные, маслянистые пятна. Не кровь — что-то другое. Что-то, что не хотело сворачиваться, не хотело сохнуть, не хотело исчезать. Память о том, что он не успел.

Левая рука, скрытая протезом из обсидиана и старой кожи, покоилась на груди. Протез был чёрным, маслянистым, пустым. Он не блестел, не отражал свет, не притягивал взгляда. Тоомас сковал его за одну ночь — лёгкий, прочный, по-

чти невидимый в темноте. «Он не даст тебе силы, Пророк, — сказал тогда кузнец. — Но он не даст тебе забыть, что ты заплатил. Каждый раз, когда ты поднимешь эту руку, ты вспомнишь, чего она стоила. Это не подарок. Это напоминание».

Эйнар помнил. Он помнил всё. Каждое имя, каждое лицо, каждую смерть. И свою руку. И свою надежду, которую отдал Хозяину зеркал. И Лиру.

Особенно Лиру.

Он вытащил из-за пазухи клочок ткани — серый, потёртый, с волчьей головой на нашивке. Край был рваным — он оторвал его от рукава Лиры, когда неизвестный утягивал её в зеркало. Ткань была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, Эйнар чувствовал не пустоту — память. Память о ней. О том, как она смеялась. О том, как она плакала. О том, как она держала меч.

Он поднёс клочок к лицу, вдохнул. Ткань пахла железом, потом и ещё чем-то — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом пустоты. Но в этом запахе, в этом ожидании, в этой пустоте, он слышал не страх — её голос. «Я

не боюсь пустоты, — сказала она однажды, когда они сидели у костра, и огонь отражался в её единственном глазу. — Пустота боится меня. Потому что я помню. Потому что я не сдаюсь. Потому что я — «Волчица»».

Она не сдалась. Даже когда неизвестный коснулся её лица. Даже когда её тело стало гладким, как стекло, как лёд, как пустота. Она назвала имя брата. Она попыталась удержаться. Она боролась. Она не сдалась никогда.

А он не удержал.

Эйнар спрятал клочок за пазуху, туда, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно. Но билось. Он будет помнить. Он всегда помнил. Даже когда память умирала. Даже когда имя исчезало. Даже когда пустота звала. Он помнил.

II

Ирис проснулась не от холода — от отсутствия тепла. Рядом, на лежанке из еловых веток и старого плаща, Эйнара не было. Она села, накинула плащ. Её лицо было бледным, почти прозрачным в сером предрассветном свете, и под глазами залегли тени — не те, обычные, которые проходят после нескольких часов отдыха, а глубокие, чёрные, как вода в

колодце мёртвой деревни. Она не спала третью ночь подряд. Не могла. Слишком много раненых, слишком много страха, слишком много надежды, которая умирала, но не хотела сдаваться.

Она кашлянула — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не жаловалась. Не останавливалась. Она встала, поправила повязки на двух «Волках», которые спали у повозки — тех, кого решили взять с собой в Ущелье. Их раны были старыми, затягивающимися, но скверна ещё пульсировала под кожей — чёрная, маслянистая, живая. Ирис влила в их рты отвар из сушёной коры, которая оставалась на донышке мешка. Отвар был горьким, почти невыносимо горьким, но они пили не морщась — привыкли.

Потом она пошла искать Эйнара.

Она нашла его у входа в лагерь, на том самом камне, где он сидел всю ночь. Он смотрел на юго-запад, туда, где сквозь серую, предрассветную мглу угадывались очертания скал. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании,

было что-то ещё. Не надежда — память о надежде.

— Ты не спал, — сказала она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Спал, — ответил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть знания. Тяжесть предчувствия. Тяжесть пустоты, которая больше не звала, но и не отпускала. — Мне снились тени. Две. На гребне. Она стояла рядом с неизвестным, и её глаза были пустыми. Светлыми. С точечными зрачками. Как у двойника. Как у пустоты.

Ирис села рядом, положила голову ему на плечо. Её плечо коснулось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память. Память о тех, кто остался. О тех, кто не сдался. О тех, кто всё ещё дышал.

— Может быть, это был не сон, — сказала она, и её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Может быть, она приходила. Чтобы ты знал, что она ещё жива. Или не жива — но не исчезла. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он поднялся, стряхнул с коленей налипшую грязь. — Мы выступаем сейчас. Без завтрака. Без привалов. Без остановок. Идём на юго-запад, пока не дойдём до Ущелья. Я не хочу, чтобы она снова приснилась мне с пустыми глазами.

III

Лагерь проснулся за несколько минут. Люди выходили из палаток, из-за камней, из-за повозок, и их лица были бледными, усталыми, почти прозрачными. Они не знали, что случилось. Они боялись. Они ждали. Они надеялись. Но надежды было мало. Слишком мало.

Ворн подошёл первым. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он нёс карту — ту самую, нарисованную углём на бересте, с отметками Лис и Альрика. Он развернул её на плоском камне, прижал края, чтобы не свернулась. Его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — дрожали. Не от холода — от усталости. От той глухой, беспросветной усталости, которая бывает у людей, которые слишком долго несли слишком тяжёлое бремя.

— Мы должны обсудить маршрут, Пустой, — сказал

Ворн, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Отсюда до Ущелья Чёрного Ворона — день пути, если идти нормальным шагом с двумя привалами. Но ты хочешь идти без остановок. Это значит — мы придём туда к полуночи. Люди упадут. Не все — многие. Раненые не выдержат.

— Раненые остаются здесь, — ответил Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Ворн, ты берёшь троих «Волков» и остаёшься в штольнях Тоомаса. Ждёшь три дня. Если мы не вернёмся — идёшь к перевалам, к союзникам. Рассказываешь всё. О пустоте. О двойниках. О Хозяине зеркал. О том, что мы сделали. О том, что мы не сдались.

Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Ты не понял, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Я не остаюсь. Я иду с тобой. Но я требую, чтобы мы делали привалы. Каждые три часа — двадцать минут отдыха. Иначе люди не дойдут. Не до Ущелья — до середины пути. Они упадут, как тот парень вчера. Ты хочешь тащить их на себе? Или бро-

сить?

— Я не брошу, — сказал Эйнар, и его голос стал твёрже, почти стальным. — Но я не буду ждать. Каждый час — это её память. Каждый час — это её имя. Каждый час — это её лицо, которое исчезает. Я не могу ждать, Ворн. Я не имею права.

— А они имеют право умирать из-за твоей одержимости? — спросил Ворн, и он указал на «Волков», которые стояли в стороне, сжимая оружие, и их лица были бледными, почти прозрачными, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками, и тёмных, глубоких, с красными прожилками — был страх. Не перед смертью — перед неизвестностью. Они не знали, победят ли. Не знали, выживут ли. Не знали, увидят ли завтрашний закат.

Эйнар молчал. Долго. Так долго, что Ворн начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом Эйнар медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Я не хочу, чтобы они умирали, — сказал он, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как признание. — Я хочу, чтобы они жили. Но если мы не дойдём — Лира умрёт. Или не умрёт — исчезнет. Или

не исчезнет — станет пылью. И будет петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение. Я не могу этого допустить. Я — Зеркальный Пророк. Моё дело — смотреть в пустоту и не отводить взгляд. Я посмотрю. А потом — закрою дверь. Окончательно. Или умру, пытаясь.

Часть вторая. Каменная лихорадка

IV

Они выступили через четверть часа. Эйнар шёл первым, за ним — Ирис, за ней — Лис, Рагнар, Эйрик, Орм и восемь отборных «Волков». Те, кто мог ещё держать оружие. Те, кто не боялся темноты. Те, кто не спрашивал, зачем они идут. Они знали. Не спрашивали. Просто шли.

Солнце поднялось над горами, разогнав утренний туман, но не принеся тепла. Небо было серым, низким, с рваными облаками, которые плыли медленно и важно, словно у них было много времени. Ветер дул с севера, холодный, колючий, пахнущий снегом и мёрзлой землёй, и в этом ветре, в этом холоде, в этом ожидании было что-то, от чего даже «Волки», видавшие виды, замерли на месте.

Тропа, которую выбрала Лис, была старой, почти забытой — она вилась между камнями, поднималась на осыпи,

спускалась в сухие русла ручьёв, и местами её было почти не видно. Но Лис вела уверенно, её единственный глаз — живой, острый, почти хищный — сканировал землю, стены, горизонт. Она искала след. Не тот, который оставляют обычные люди — чёткий, глубокий, с рисунком подошвы. Другой. Тот, который оставляет тот, кто уже не человек. Тот, кто между. Между памятью и забвением. Между именем и пустотой.

Она нашла его через час. Отпечаток босой ноги на влажной земле у подножия осыпи — маленький, узкий, с длинными пальцами. След был свежим — она определила это по тому, как земля ещё держала форму, не осыпалась, не расплылась от утренней росы. Время? Четыре, пять, шесть часов назад. Лира прошла здесь. Или её пронесли. Или повели.

— Она здесь, — сказала Лис, и её голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — След свежий. Мы идём правильно. Не сбились.

— Сколько до Ущелья? — спросил Рагнар, и его голос дрогнул. Он шёл сразу за Лис, сжимая в правой руке меч — длинный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью. Левая рука, перевязанная после боя в ущелье, всё ещё болела, но он не жаловался. Жаловаться было некому. И незачем.

— Если идти без привалов — к полуночи, — ответила Лис, и она подняла голову, посмотрела на Эйнара. В её единственном глазу — живом, остром, почти хищном — был вопрос. Не страх — вопрос. «Ты уверен? Ты знаешь, что мы идём? Ты готов?».

Эйнар не ответил. Не мог. Не хотел. Он просто кивнул — один раз, коротко, резко, как отдают честь. Лис кивнула в ответ. И этого было достаточно.

V

Первый час прошёл в тишине. Люди шли молча, и их шаги были тихими, почти бесшумными. Только дыхание. Только запах пота и старой кожи. Только хруст гравия под сапогами. И тишина. Та самая, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

Эйнар шёл первым, и его шаги были быстрыми, уверенными, почти лёгкими. Он не опирался на посох — обсидиановый клинок был закреплён на поясе, в новой, обсидиановой же ножне. Левая рука, скрытая протезом, висела вдоль тела — чёрная, маслянистая, пустая. Она не болела. Не давила. Не напоминала о себе. Она была частью Эйнара. Как шрам. Как имя. Как память, которая умирала, но не хотела сдаваться.

За ним шла Ирис. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не останавливалась. Не жаловалась. Не просила помощи. Она шла, потому что если она остановится — Эйнар уйдёт без неё. А уходить без неё он не имел права.

— Ирис, — сказал Орм, идя рядом с ней, — ты должна пить. Твой кашель становится хуже. Дым не выходит из лёгких. Если не остановиться — ты упадёшь.

— Я не упаду, — ответила Ирис, и её голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была усталость. Такая же, как у всех. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая. — Я не могу упасть. Если я упаду — он остановится. А если он остановится — она умрёт. Я не хочу, чтобы она умирала. Я хочу, чтобы она жила. Даже если для этого нужно кашлять до крови. Даже если мои лёгкие разорвутся. Я буду идти. Клянусь.

Орм смотрел на неё долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, — сказал он, и он достал из своей сумки по-

следнюю флягу с водой, протянул ей. — Пей. Не много — глоток. Чтобы смочить горло. Дальше будет хуже. Вода понадобится раненым. Но один глоток — твой.

Ирис взяла флягу, отпила глоток. Вода была холодной, почти ледяной, и она обожгла горло, но кашель на мгновение стих. Она вернула флягу Орму, и он спрятал её обратно в сумку.

— Спасибо, — сказала она, и слово это прозвучало странно, чужеродно в этом месте, где благодарили только за кровь и жизнь, а за воду — никогда.

— Не благодари, — ответил Орм, и он отвернулся. — Мы все умрём, если не будем помогать друг другу. Я не хочу умирать. Не здесь. Не сейчас. Не от жажды.

VI

Второй час был тяжелее первого. Тропа пошла вверх, петляя между огромными, замшелыми валунами, которые нависали над головой, как каменные своды, как могильные плиты, как память. Ноги устали, спины болели, глаза слипались. Люди дышали тяжело, хрипло, и пот смешивался с пылью, превращаясь в серую, маслянистую корку на лицах.

Лис подняла руку — сигнал остановки. Её единственный глаз сверкал в сером свете, как уголь, как лезвие, как надежда. Она остановилась на полшага, прислушалась, вглядываясь в серую, каменную даль. Её ноздри раздувались — она чуяла то, что не могли учуять другие. Запах страха. Запах усталости. Запах скверны, которая была где-то рядом.

— Там, впереди, — сказала она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — За поворотом. Я чую след. Свежий. Очень свежий. Ей не больше четырёх часов. Может быть, меньше.

— Тогда идём быстрее, — сказал Эйнар, и он ускорил шаг.

Ворн догнал его, схватил за правое плечо — не грубо, но твёрдо. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

— Пустой, — сказал он, и его голос был низким, рокочущим, но в нём появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую просьбу. — Люди не выдерживают. Посмотри на них. Они на пределе. Ещё час такой гонки — и они начнут падать. Не камни — они сами. Мы не сможем нести всех. Ты должен дать им отдых. Хотя бы двадцать минут. Хотя бы десять.

Эйнар остановился. Повернулся к отряду. «Волки» стояли, тяжело дыша, опираясь на копья и мечи, и их лица были бледными, почти прозрачными, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками, и тёмных, глубоких, с красными прожилками — была усталость. Такая же, как у Ворна. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая.

— Двадцать минут, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но не здесь. За поворотом. Я хочу видеть след. Потом — отдых.

Он повернулся и пошёл дальше. Люди пошли за ним. Молча. Без жалоб.

VII

Они нашли место для привала у старой, полуразрушенной стены — остатков сторожки, которую когда-то построили здесь, в горах, для защиты от лавин или от врагов. Стена была сложена из чёрного, маслянистого камня, который блестел в свете полуденного солнца, как зеркало, как лёд, как пустота. Но в ней ничего не отражалось. Только тьма. Только ожидание. Только страх.

Люди упали на землю, прислонившись спинами к холод-

ным, шершавым камням. Кто-то пил из фляг — короткими, жадными глотками. Кто-то просто сидел, закрыв глаза, и его губы шевелились, произнося имена тех, кого не было рядом. Кто-то спал — прямо на камнях, подстелив под себя плащи, и его дыхание было ровным, спокойным, почти механическим.

Эйнар не спал. Он стоял у края тропы, глядя на юго-запад, туда, где за горами, за лесами, за границей пустоты, ждало Ущелье Чёрного Ворона. Ждала крепость. Ждала Лира. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

— Ты должен отдохнуть, — сказала Ирис, подходя к нему. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. — Даже ты не можешь идти без сна. Твои глаза закрываются. Я вижу.

— Я отдохну, когда найду её, — ответил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть сомнения. Тяжесть страха. Тяжесть памяти.

Ирис смотрела на него долго, изучающе. Потом медленно кивнула — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, — сказала она, и она села на камень рядом с ним, положила голову ему на плечо. — Тогда я посижу с тобой. Чтобы ты не уснул стоя. Или уснул — но не упал. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он не отстранился.

Часть третья. Раскол в движении

VIII

Двадцать минут истекли. Эйнар поднялся первым, не говоря ни слова. Он просто встал и пошёл. Остальные поднялись молча. Никто не просил ещё минуту. Даже Ворн.

Они шли теперь медленнее, но упрямее. Ноги дрожали, спины болели, глаза слипались, но никто не жаловался. Жаловаться было некому. И незачем.

Через час пути, когда солнце уже клонилось к закату, и тени становились длиннее, и холод пробирался под одежду, под кожу, в кости, молодой «Волк» по имени Эрик — тот самый, которого Ирис спасла от скверны, отрезав ногу, — споткнулся о камень и упал. Он упал лицом в щебень, не вскрикнув, не застонав, не попытавшись подняться. Он просто лежал, и его глаза были открыты, но они были пустыми

— светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками.

Ирис подбежала к нему, опустилась на колени, проверила пульс. Пульс был — слабый, редкий, почти неощутимый. Но был. Она перевернула его на спину, осмотрела — ни ран, ни крови, ни следов скверны. Только усталость. Такая глубокая, такая тяжёлая, такая безнадёжная, что тело просто отказалось двигаться.

— Он не ранен, — сказала Ирис, и её голос дрогнул. — Он просто... выдохся. До предела. Ему нужен отдых. Не двадцать минут — ночь. Иначе он не встанет.

Эйнар подошёл, посмотрел на Эрика. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было жалости. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, было что-то ещё. Не жалость — память о жалости.

— Оставьте его здесь, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — С ним останутся двое. Те, кто тоже на пределе. Они отдохнут и догонят. Или не догонят — но не умрут.

Ворн шагнул вперёд. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была не ярость — усталость. Такая же, как у всех. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая.

— Ты бросаешь своих? — спросил Ворн, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Ради призрака? Ради той, кто уже не человек? Ради тени, которая смотрела на тебя с гребня пустыми глазами?

— Она человек, — сказал Эйнар, и его голос стал твёрже, почти стальным. — Она была человеком. И осталась. Даже если её память выжгли. Даже если её тело стало гладким, как стекло. Она назвала имя Бьорна, когда неизвестный касался её лица. Она боролась. Она не сдалась. А ты хочешь бросить её? Как бросают раненых, когда не могут нести? Как бросают мёртвых, когда некому их хоронить? Я не брошу. Я — Пустой. Моё дело — помнить. И я помню её. Не тень — Лиру. «Волчицу». Ту, кто не сдалась.

Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Ты не военачальник, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Ты — безумец, который ведёт людей в могилу за своей одержимостью. Где стратегия? Где план? Где запас сил? Ты хочешь дойти до Ущелья, но не думаешь о том, что будет потом. А потом — бой. С неизвестным. С тенями. С пустотой. И люди, которых ты загнал до изнеможения, не смогут сражаться. Они умрут. И ты умрёшь. И Лира умрёт. Или не умрёт — но исчезнет. Или не исчезнет — станет пылью. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он повернулся к Эрику, который лежал на земле, глядя в небо пустыми, светлыми глазами. — Но я не хочу, чтобы она исчезала. Я хочу, чтобы она жила. Даже если для этого нужно идти без сна. Даже если для этого нужно бросить тех, кто не может идти. Даже если я останусь один. Я пойду. Один. Если вы не хотите — оставайтесь. Ждите. Или возвращайтесь. Я не держу.

Он шагнул вперёд, обходя Эрика, обходя Ворна, обходя всех. Его шаги были быстрыми, уверенными, почти лёгкими. Он не оглядывался.

IX

— Стой, — сказал Рагнар, и его голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Стой, Пустой. Никто не остаётся. Никто не возвращается. Мы идём все. Вместе. Как «Волки». Как семья.

Он подошёл к Эрику, наклонился, подхватил его под мышки — здоровой рукой, правой, потому что левая всё ещё болела и висела плетью. Поднял. Поставил на ноги. Эрик стоял, шатаясь, его глаза были пустыми, но он стоял. Это было главным.

— Ты идёшь, — сказал Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Или я несу тебя. Выбирай.

Эрик смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Иду, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как признание.

Лис подошла к Эйнару, остановилась в трёх шагах. Её единственный глаз — живой, острый, почти хищный — сверкал в свете уходящего солнца, как уголь, как лезвие, как

надежда. Она смотрела на него, и в её взгляде было что-то, чего он не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Уважение.

— Ты готов идти один? — спросила она, и её голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь.

— Да, — ответил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— А я нет, — сказала Лис, и она шагнула вперёд, становясь рядом с ним. — Я готова идти с тобой. Потому что если ты умрёшь — никто не вспомнит, куда идти. Потому что если ты умрёшь — Лира исчезнет навсегда. Потому что если ты умрёшь — мы проиграем. А я не хочу проигрывать. Я хочу победить. Даже если для этого нужно идти без сна. Даже если для этого нужно умереть. Я иду.

Эйнар смотрел на неё долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, — сказал он, и он повернулся к отряду. — Идём. Все. Вместе. К Ущелью. К Лире. К концу — или началу. Какая разница?

— Никакой, — ответил Рагнар, и он поднял меч. Сталь блеснула в свете уходящего солнца, и на лезвии не было пыли. — Вперёд! К Ущелью! Шагом марш!

Часть четвёртая. Последний рывок

X

Они шли в темноте, когда солнце уже село и небо стало чёрным, почти мёртвым. Луна скрылась за облаками, звёзды погасли — или их не было с самого начала. Только тьма. Только холод. Только ожидание.

Эйнар шёл первым, его правая рука лежала на обсидиановом клинке, готовая выхватить его в любой момент. Левая рука, скрытая протезом, висела вдоль тела — чёрная, маслянистая, пустая. Он не чувствовал усталости. Не мог. Надежды нет, усталости — тоже. Только память. Только имя. Только цель.

За ним шла Ирис. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не останавливалась. Не жаловалась. Не просила помощи. Она шла, потому что если она остановится — он уй-

дёт без неё. А уходить без неё он не имел права.

За ней — Лис, Рагнар, Эйрик, Орм, семь «Волков» и Эрик, который шёл, опираясь на костыль, и его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была боль. Не физическая — метафизическая. Боль человека, который знал, что он — обуза, но не мог остановиться.

XI

Лис подняла руку — сигнал остановки. Её единственный глаз сверкал в темноте, как уголь, как лезвие, как надежда. Она остановилась на полшага, прислушалась, вглядываясь в чёрную, каменную даль. Её ноздри раздувались — она чуяла то, что не могли учуять другие. Запах пустоты. Сладковатый, приторный, почти тошнотворный. Но не мёртвый, не выветрившийся — живой. Свежий. Горячий.

— Мы близко, — сказала она, и её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — За следующим поворотом — Ущелье. Я чую его. Оно дышит. Как зверь. Как пустота. Как память.

Эйнар подошёл к повороту, выглянул из-за угла. Впереди, в чёрной, маслянистой темноте, угадывались очертания уще-

лья — широкого, пологого, с чёрными, маслянистыми стенами, которые блестели в свете звёзд, но не отражали. Они впитывали свет, как зеркала впитывали отражения, как пустота впитывала память.

— Ворн, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Мы входим в ущелье. Ты остаёшься здесь. С Эриком и ещё двумя, кто не может идти дальше. Ждёте до рассвета. Если мы не вернёмся — уходите. К перевалам. К союзникам. Рассказываете всё. О пустоте. О двойниках. О Хозяине зеркал. О том, что мы сделали. О том, что мы не сдались.

Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Я останусь. Но если вы не вернётесь к полудню — я войду. С остальными. И найду вас. Живых или мёртвых. Или не найду — но попытаюсь. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он повернулся к ущелью. — Идём. Быстро. Молча. И не оглядываемся.

XII

Они вошли в Ущелье Чёрного Ворона в полночь. Луна выглянула из-за облаков — бледная, холодная, почти мёртвая — и осветила чёрные, маслянистые стены, которые блестели, как зеркало, как лёд, как пустота. В них ничего не отражалось. Только тьма. Только ожидание. Только страх.

Эйнар шёл первым. Его шаги были тихими, почти бесшумными, и в этой тишине, в этой пустоте, в этом ожидании, ему казалось, что он слышит не только своё дыхание — он слышит, как бьётся его сердце. Ровно. Спокойно. Почти механически. Как пульсация пустоты. Как песня пыли, которая больше не поёт. Как ожидание.

Лис шла за ним, её единственный глаз сканировал стены, пол, потолок. Она искала врага. Искала ловушку. Искала смерть, которая могла ждать их за каждым поворотом. Но врага не было. Только камни. Только пыль. Только тишина. И тени.

Тени на стенах вели себя странно. Они не повторяли движения идущих в точности — иногда замирали, когда люди двигались, иногда тянулись в другую сторону, иногда распадались на несколько частей, а потом снова собирались воедино. Рагнар заметил это первым. Он остановился, посмотрел

на свою тень, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — был страх. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Страх перед тем, что ты видишь себя со стороны. Перед тем, что ты — не ты. Перед тем, что ты — ошибка, исключение, то, чего не должно было быть.

— Они живые, — сказал он, и его голос дрогнул. — Тени. Они не наши. Они — чужие. Они смотрят на нас. Они ждут. Они знают, что мы идём.

— Не смотри на них, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не смотри в тени. Не смотри в глаза. Смотри только вперёд. На меня. На Лис. На живых. Тени — это не враги. Тени — это память. Память о тех, кто ушёл. Память о тех, кто не вернулся. Память о тех, кто ждёт. Не бойся их. Просто иди.

XIII

Они вышли к крепости через час. Она стояла в центре ущелья, на невысоком холме, окружённая чёрными, маслянистыми скалами, которые блестели в свете луны, как зеркала, как лёд, как пустота. Стены были чёрными, высокими, с узкими, стрельчатыми окнами, из которых не пробивался свет. Ворота были открыты — широко, как распахнутая

пасть, как открытая дверь, как зеркало, которое ждёт.

Эйнар остановился у подножия холма, поднял голову. На стене, на самом верху, у края, стояли две фигуры. Одна была длинной, тонкой, с неестественными пропорциями. Неизвестный. Тот, кто забрал Лиру. Тот, кто коснулся её лица. Тот, кто утянул её в зеркало. Он стоял неподвижно, и его чёрный плащ не колыхался на ветру — он висел, как висит знамя в безветренном зале, как саван над могилой, как память над забвением.

Рядом с ним — вторая фигура. Хрупкая, сбитая, с чёрной повязкой на правом глазу. Лира. Она стояла, как вкопанная, и её лицо было бледным, почти прозрачным в свете луны. Но в этом лице, в этой бледности, в этой прозрачности, Эйнар не узнал её. Не потому, что она изменилась — потому, что в ней не было того, что делало её Лирой. Не было огня в единственном глазу. Не было напряжения в плечах. Не было того, как она держала голову — чуть набок, как будто прислушивалась к чему-то, чего не слышали другие.

Она стояла прямо. Глаза её были открыты, но они были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками. Как у двойника. Как у тени. Как у пустоты.

— Лира, — прошептал Эйнар, и имя это прозвучало не

как вопрос — как молитва.

Она не ответила. Не двинулась. Не посмотрела на него. Она стояла, глядя в пустоту, и в её глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было ни страха, ни надежды, ни усталости. Только пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна.

Неизвестный поднял руку — длинную, тонкую, бледную. Пальцы его были вытянуты, и они светились в темноте — холодным, голубоватым светом. Светом Стекла. Светом пустоты. Светом платы. Он указал на Эйнара. Один жест. Без слов. Без угроз. Без надежды.

— Он ждёт тебя, — сказала Лис, и её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Он знал, что ты придёшь. Он готовился. Он хочет тебя. Не Лиру — тебя. Она — приманка. А ты — цель.

— Знаю, — ответил Эйнар, и он шагнул вперёд, к воротам. — Но я всё равно иду.

Часть пятая. Ночь перед битвой

XIV

Они разбили лагерь у подножия холма, в тени чёрных, маслянистых скал. Костры разжигать не стали — боялись привлечь внимание. Люди сидели в темноте, прижавшись друг к другу, и их дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Они не спали. Не могли. Слишком много страха, слишком много крови, слишком много потерь.

Эйнар сидел на камне, глядя на крепость, на стены, на две тени, которые стояли наверху и не двигались. Неизвестный и Лира. Они ждали. У них было время. Вечность.

Ирис сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она не спала. Не могла. Слишком много мыслей, слишком много страха, слишком много вопросов, на которые не было ответов.

— Ты боишься? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Нет, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Я уже боюсь. Я боюсь не смерти — забвения. Боюсь, что завтра я войду в крепость, увижу её пустые глаза — и не смогу помочь. Не смогу вер-

нуть её память. Не смогу вернуть её имя. Боюсь, что она станет пылью. Будет петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение.

— Ты не дашь ей стать пылью, — сказала Ирис, и она взяла его за правую руку — живую, тёплую, перевязанную. — Ты помнишь её. А память не даёт исчезнуть. Она держит. Как я держу тебя. Как ты держишь меня. Как мы держим друг друга. Мы не дадим ей исчезнуть. Клянусь.

Она сжала его руку крепче. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — стояли слёзы. Она не вытирала них. Не прятала. Не стыдилась. Она плакала от того, что он снова идёт в бой. Снова рискует. Снова платит. И она не могла остановить его. Не могла взять плату на себя. Не могла умереть вместо него.

— Я пойду с тобой, — сказала она, и это был не вопрос — утверждение. — Не в первой шеренге — в центре. С бинтами. С мазями. С памятью. Я буду рядом. Всегда рядом. Пока ты идёшь. Пока ты помнишь. Пока ты не сдаёшься.

Он не ответил. Только кивнул — один раз, коротко, резко, как отдают честь. И этого было достаточно.

XV

Лис подошла к Эйнару, когда луна скрылась за облаками и стало темно, как в Нижнем Колодце, как в пустоте, как в конце всего. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в единственном глазу — живом, остром, почти хищном — было напряжение. То самое, которое бывает у зверя, когда он чует опасность, но не знает, откуда она придёт.

— Я проверила крепость, — сказала она, и её голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — С восточной стороны, по стене. Внутри — никого. Только пустота. Только тени. Только ожидание. Ни двойников. Ни псов. Ни стражи. Только он. И она. Они ждут нас. Не прячутся. Не готовятся к обороне. Просто ждут.

— Значит, мы идём, — сказал Эйнар, и он поднялся, стряхнул с коленей налипшую грязь. — На рассвете. Не ждём. Не прячемся. Идём в открытую. Через ворота. К нему. К ней. К концу — или началу. Какая разница?

— Никакой, — ответила Лис, и она повернулась к крепости. — Завтра мы войдём туда. Не все выйдем. Но мы войдём. Потому что если не мы — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что мы — «Серые Волки». А «Серые Волки» не сдаются.

XVI

Ночью, когда лагерь затих, а люди уснули — кто на камнях, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла, — Эйнар стоял у подножия холма, глядя на крепость, на стены, на две тени, которые не двигались. Неизвестный и Лира. Они ждали. У них было время. Вечность.

Он вспомнил, как Лира училась держать меч. Бьорн показывал ей, как ставить ноги, как держать спину, как бить. Она падала, вставала, падала снова, но не плакала. Никогда не плакала. Только сжимала зубы и поднималась. «Я не боюсь, — говорила она. — Я не боюсь ни боли, ни крови, ни смерти. Я боюсь только одного — забыть. Забыть Бьорна. Забыть, как он учил меня. Забыть, как он смеялся. Забыть, как он плакал. Я буду помнить. Клянусь».

Она помнила. Она помнила до самого конца. До того момента, когда неизвестный коснулся её лица и начал забирать память. Она не сдалась. Она назвала имя брата. Она попыталась удержаться. Она боролась. Даже когда её тело стало гладким, как стекло, как лёд, как пустота. Она боролась. Она не сдалась. Никогда.

— Я верну тебя, — сказал Эйнар, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как

клятва. — Даже если для этого придётся сражаться с пустотой. Даже если для этого придётся умереть. Я верну тебя. Клянусь. Памятью. Именем. Кровью.

Он вынул клочок ткани от её рукава, прижал к губам. Ткань была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, он чувствовал не пустоту — память. Память о ней.

Он спрятал клочок за пазуху, туда, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно. Но билось.

Завтра — бой.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 22

ГЛАВА 23. БРОД ЧЕРЕЗ ЧЁРНУЮ РЕКУ

Часть первая. Чёрная вода

I

Они вышли к реке на рассвете, когда небо на востоке начало светлеть той бледной, болезненной желтизной, которая не обещает тепла, только напоминает, что ночь кончилась, а

тяжесть осталась. Эйнар остановился на краю обрыва, глядя на чёрную, маслянистую воду, и впервые за долгое время его сердце пропустило удар. Не от страха — от узнавания. Он знал эту воду. Он видел её в снах, которые не были снами, в видениях, которые не были видениями, в той пустоте, которая жила в нём с рождения и теперь, после того как Хозяин зеркал забрал его надежду, молчала, как мёртвый колодец, как запечатанная дверь, как имя, которое вырезали из памяти, но шрам остался.

Река была широкой — шагов сорок, не меньше. Вода не текла. Она стояла, как стояла веками, как стояла до того, как первые люди пришли в эти горы, как стояла после того, как последние ушли. Чёрная, маслянистая, гладкая, как стекло, как зеркало, как пустота. Она не отражала серое предрассветное небо — она впитывала его, превращала в тьму, в ожидание, в страх. Поверхность была неподвижной, но в этой неподвижности, в этой гладкости, в этой пустоте было что-то, от чего даже Лис, которая не боялась ничего, почувствовала холод в затылке.

— Чёрная река, — сказал Эйрик, стоя на коленях у самого обрыва, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Я слышал о ней. В Западном Домене, когда служил Корвусу. Говорили, что здесь не живут. Что вода не пьётся. Что рыба не ловится.

Что даже птицы облетают это место стороной. Говорили, что те, кто попытался перейти, не дошли до другого берега. Их находили потом вниз по течению — через неделю, через месяц, через год. С пустыми глазами. С выжженной памятью. С чёрной, маслянистой водой в лёгких.

— Мы перейдём, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть знания. Тяжесть выбора. Тяжесть платы, которую он не мог не заплатить. — След ведёт на тот берег. Лира перешла здесь. Или её перевели. Мы должны перейти. Другого пути нет.

Ворн подошёл к краю обрыва, посмотрел вниз. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на воду, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — был не страх — усталость. Такая же, как у всех. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая.

— Другого пути нет? — переспросил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — В горах всегда есть другой путь. Нужно только искать. Но ты не хочешь искать, Пустой. Ты хочешь идти напрямик. Как всегда.

Не думая о людях, о припасах, о том, что может ждать нас в этой воде. Ты видишь только цель. А цель — на том берегу. И ты готов идти по головам. Или по воде. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он повернулся к Ворну. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было гнева. Не было обиды. Не было усталости. Было что-то другое. Правда. Та самая, которую он нёс с рождения. Та самая, которую он принял, как судьбу. Та самая, которая была тяжелее любого клинка, тяжелее любой лжи, тяжелее любой пустоты. — Я не хочу, чтобы они умирали. Но если мы не перейдём сейчас — Лира умрёт. Или не умрёт — исчезнет. Или не исчезнет — станет пылью. Я не могу этого допустить. Я — Зеркальный Пророк. Моё дело — смотреть в пустоту и не отводить взгляд. Я посмотрю в эту воду. А потом — перейду. Один. Если вы не хотите — оставайтесь. Ждите. Или возвращайтесь. Я не держу.

Он шагнул вперёд, к обрыву, к воде, к пустоте. Но Лис успела схватить его за правую руку — не грубо, но твёрдо. Её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — сжали его запястье, и он остановился.

— Подожди, — сказала Лис, и её единственный глаз — живой, острый, почти хищный — сверкал в сером свете, как

уголь, как лезвие, как надежда. — Я пойду первой. Проверю брод. Если я не вернусь через час — не ходите. Ищите другой путь. Клянусь.

II

Она спустилась к воде бесшумно, как тень, как призрак, как память. Сапоги её ступили на чёрный, маслянистый песок, и песок не заскрипел — он впитывал звук, как вода впитывала свет, как пустота впитывала память. Лис остановилась у самой кромки, посмотрела на свою тень. Тень лежала на воде — чёрная, маслянистая, почти живая. Она не повторяла движения Лис в точности. Она была другой. Более длинной. Более тонкой. С неестественными пропорциями.

— Не смотри на тень, — сказал Эйнар сверху, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Смотри на воду. На дно. На брод. Тени — это не враги. Тени — это память. Память о тех, кто утонул здесь. Память о тех, кто не перешёл. Память о тех, кто ждёт. Не бойся их. Просто иди.

Лис не ответила. Она сделала шаг в воду. Сапог погрузился в чёрную, маслянистую гладь, и она почувствовала холод — не такой, как в Зеркальном Склепе, где холод был отсутствием тепла. Другой. Холод, который был присутствием че-

го-то другого. Чего-то, что было раньше. Чего-то, что помнило то, что забыли боги. Чего-то, что ждало своего часа.

Вода была глубже, чем казалось с берега. Уже через три шага она доходила до колен. Через пять — до пояса. Лис шла медленно, осторожно, прощупывая дно шестом — длинным, обсидиановым, который Тоомас сковал для неё перед выходом. Шест уходил в ил, в тину, в пустоту. Он не находил твёрдого дна. Только мягкое, податливое, почти живое. Как будто она шла не по реке — по огромному, спящему телу, которое дышало, ждало, смотрело.

Она остановилась на середине. Вода доходила до груди. Холод пробирал до костей, до пустоты, до имени. Лис посмотрела вниз, под воду. Там ничего не было. Только тьма. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна. Но в этой тьме, в этой глубине, в этом ожидании, она увидела движение. Что-то шевельнулось в трёх шагах от неё. Что-то длинное, тонкое, бледное. Что-то с неестественными пропорциями.

Она не закричала. Не позвала на помощь. Не вытащила нож. Она замерла. Как учил Эйнар. Как учат разведчиков в первый же день. «Если ты не знаешь, что перед тобой — не двигайся. Если ты не знаешь, кто ты — не дыши. Если ты не знаешь, зачем ты здесь — не думай. Просто замри. Стань

камнем. Стань тенью. Стань пустотой».

Она замерла. Не дышала. Не моргала. Не думала. Только смотрела. И ждала.

Движение под водой прекратилось. Тьма сомкнулась. Тело, которое она видела, исчезло — или спряталось, или ушло глубже, или растворилось. Лис выждала ещё десять ударов сердца — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потом медленно, очень медленно, сделала шаг назад. Второй. Третий. Вода становилась мельче. Холод — слабее.

Она вышла на берег, тяжело дыша, но не сгибаясь. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и из носа текла кровь — тёмная, густая, почти чёрная — и капала на чёрный, маслянистый песок. Песок впитывал кровь, как губка, как пустота, как забвение.

— Там кто-то есть, — сказала она, и её голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — На середине. Я не видела лица. Только тень. Длинную. Тонкую. С неестественными пропорциями. Как у неизвестного. Но не он. Другой. Или не другой — отражение. Или не отражение — память. Какая разница? Они ждут. Они знают, что мы идём. Они не напали. Только смотрели.

— Они не напали, потому что ты не испугалась, — сказал Альрик, спускаясь к воде. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. В руке он держал пустой мешок из-под пыли Стекла — старый, кожаный, перетянутый ремнями. Мешок был пуст, но Альрик прижимал его к груди, как прижимают младенца, как прижимают надежду, как прижимают имя, которое не хотят забыть. — Они чувствуют страх. Они питаются страхом. Как пустота питается памятью. Ты не боялась — они не тронули. Но если мы войдём в воду все — кто-то испугается. И тогда они нападут.

III

Эйнар приказал разбить временный лагерь на берегу. Люди сидели на чёрном, маслянистом песке, их лица были бледными, почти прозрачными, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками, и тёмных, глубоких, с красными прожилками — был страх. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Страх перед тем, что ты видишь себя со стороны. Перед тем, что ты — не ты. Перед тем, что ты — ошибка, исключение, то, чего не должно было быть. Страх перед водой, которая не отражала, перед тьмой, которая ждала, перед пустотой, которая дышала.

Ирис обходила отряд, проверяла раненых, меняла повязки. У двоих «Волков» — тех, кто шёл в воде слишком долго — на ногах появились чёрные, маслянистые пятна. Скверна проникала через поры, через кожу, через память. Ирис смазывала их мазью из сушёных трав — последней, которая осталась на донышке банки. Мазь была зелёной, пахучей, почти живой. Она шипела, соприкасаясь с чёрной кожей, и пятна уменьшались, но не исчезали.

— Они не заразны, — сказала Ирис, отвечая на невысказанный вопрос Ворна. — Скверна не передаётся через прикосновение. Только через воду. Только через кровь. Только через память. Те, кто вошёл в воду, уже носят её в себе. Маленькую. Тихую. Ждущую. Я не могу выжечь её — слишком глубоко. Могу только заморозить. На время. На день. На два. Не больше.

— Тогда мы должны перейти сегодня, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Чем дольше мы ждём — тем глубже проникает скверна. Тем больше людей падёт. Не от тварей — от собственной памяти. Мы переходим через час. Я пойду первым. За мной — Рагнар, Эйрик, Орм. Лис и Ирис — в центре. «Волки» замыкают. Ворн — ты остаёшься на этом берегу с Эриком и теми, кто не может идти. Ждёшь до зака-

та. Если мы не вернёмся — уходишь на юг. К перевалам. К союзникам.

— Нет, — сказал Ворн, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Я не остаюсь. Я иду с тобой. В воду. В пустоту. В память. Я боюсь, Пустой. Я боюсь этой воды. Я боюсь того, что под ней. Я боюсь того, что она сделает со мной. Но я не брошу своих. Я — «Волк». Волки не бросают своих.

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, — сказал он, и он повернулся к отряду. — Идём все. Вместе. В цепь. Держитесь за плечи. Не смотрите в воду. Не смотрите в тени. Не смотрите друг другу в глаза. Смотрите только на затылок того, кто впереди. Идите за мной. Я выведу. Клянусь.

Часть вторая. Тишина под водой

IV

Они вошли в воду, когда солнце поднялось над горами, разогнав утренний туман, но не принеся тепла. Небо было

серым, низким, с рваными облаками, которые плыли медленно и важно, словно у них было много времени. Ветер дул с севера, холодный, колючий, пахнущий снегом и мёрзлой землёй, и в этом ветре, в этом холоде, в этом ожидании было что-то, от чего даже Эйнар, который не боялся ничего, почувствовал холод в спине. Не страх — предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола.

Эйнар шёл первым. Вода доходила ему до пояса, потом до груди, потом до плеч. Он поднял правую руку — живую, сильную, с длинными пальцами, сбитыми костяшками — чтобы факел, который он держал, не погас. Факел горел тускло, его свет не отражался от воды — он впитывался в неё, превращался в пустоту, в ожидание, в страх. Левая рука, скрытая протезом из обсидиана и старой кожи, висела вдоль тела — чёрная, маслянистая, пустая. Она не болела. Не давила. Не напоминала о себе.

За ним шёл Рагнар. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он сжимал меч правой рукой — длинный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью. Левая рука, перевязанная после боя в ущелье, висела плетью, но он держал её над водой, чтобы повязка не промокла. Его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на затылок Эйнара. Только на затылок. Никуда больше.

За Рагнаром — Эйрик. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, живых, человеческих — была решимость. Холодная, тяжёлая, почти невыносимая решимость человека, который знал, что идёт на смерть, но не мог не идти. Он нёс обсидиановый нож в правой руке, левой держался за плечо Рагнара. Его пальцы — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли — дрожали. Не от холода — от напряжения.

За Эйриком — Орм. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, человеческих — был страх. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Страх перед тем, что ты видишь себя со стороны. Перед тем, что ты — не ты. Перед тем, что ты — ошибка, исключение, то, чего не должно было быть. Но он шёл. Не останавливался. Не жаловался. Не просил помощи. Он шёл, потому что если он остановится — умрёт. А умирать он не хотел.

За Ормом — Лис. Единственный глаз её — живой, острый, почти хищный — сверкал в свете факелов, как уголь, как лезвие, как надежда. Она не смотрела в воду. Она смотрела по сторонам. На берег, на камни, на тени, которые ползли по скалам. Она ждала. Ждала, когда нападёт. Знала, что нападёт. Не знала только когда.

За Лис — Ирис. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не останавливалась. Она шла, потому что если она остановится — Эйнар оглянется. А если он оглянется — он увидит её страх. А страх — это память. А память — это смерть. Она не хотела быть смертью. Она хотела быть надеждой.

За Ирис — Ворн и восемь «Волков». Они шли в ногу, держась за плечи друг друга, и их дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Они не разговаривали. Не перешёптывались. Не кашляли. Только шаги. Только плеск воды. Только тишина. Которая становилась всё плотнее, всё тяжелее, всё беспамятнее.

V

Лис почувствовала запах за секунду до того, как увидела движение.

Он был сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом пустоты. Но не мёртвым, не выветрившимся — живым. Свежим. Горячим. Как будто пустота только что выдохнула, только что открыла глаза, только что проснулась.

Лис замерла, подняла руку — сигнал остановки. Отряд замер. Только плеск воды, только дыхание, только тишина.

— Они здесь, — сказала она, и её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — В воде. Под нами. Я чую их. Много. Слишком много. Они ждут. Они голодны.

Эйнар повернул голову, посмотрел на неё. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Сколько? — спросил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Не знаю, — ответила Лис, и она покачала головой. — Не вижу — только чувствую. Они не двигаются. Лежат на дне. Ждут. Как змеи. Как тени. Как пустота. Если мы не будем двигаться — они не нападут. Если кто-то испугается — они набросятся. Не на одного — на всех.

— Тогда идём, — сказал Эйнар, и он повернулся обратно, к другому берегу. — Идём медленно. Спокойно. Не дыша. Не думая. Не боясь. Мы — камни. Мы — тени. Мы —

пустота. Пустота не боится пустоты. Пустота не нападает на пустоту. Пустота только ждёт.

Они пошли дальше. Шаг за шагом. Медленно. Плавно. Почти бесшумно. Вода доходила уже до груди, до плеч, до подбородка. Эйнар поднял правую руку выше, чтобы факел не погас. Свет факела был тусклым, почти мёртвым, но он был. Он освещал чёрную, маслянистую воду, и в этом свете, в этой тьме, в этом ожидании, Лис увидела их.

VI

Первая тень появилась в трёх шагах от Эйнара. Она вынырнула из глубины бесшумно, как пузырь воздуха, как мысль, как память. Это было лицо. Бледное, почти белое, с размытыми чертами, как у статуи, которую вода точила веками. Глаза были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками. Рот был открыт, но из него не вырывалось ни звука. Только вода. Чёрная, маслянистая, пульсирующая.

Эйнар не остановился. Не выхватил клинок. Не закричал. Он смотрел на это лицо, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Ты не первый, — сказал он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — И не последний. Я видел таких, как ты, в Зеркальном Склепе. В зале Хранителя. В Чёрном Пике. Ты — не враг. Ты — память. Память о тех, кто утонул в этой реке. Память о тех, кто не перешёл. Память о тех, кто ждёт. Я помню вас. Я помню всех. Каждое лицо. Каждое имя. Каждую смерть. Вы не забыты. Вы не исчезли. Вы — моя память. Моя плата. Моё имя. Отойди. Дай мне пройти.

Лицо замерло. Его пустые глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — расширились. В их глубине, в этой пустоте, в этом ожидании, мелькнуло что-то живое. Искра. Память. Имя. Оно открыло рот, пытаясь сказать что-то. Из его горла вырвался не звук — хрип. Сухой, рваный, почти нечеловеческий. А потом — треск. Оно рассыпалось. Не в пыль — в воду. Чёрную, маслянистую, пульсирующую. Вода сомкнулась над ним, и он исчез. Как дым, как тень, как память, которая умирает.

Но на его месте появились новые.

Их были десятки. Они выныривали из глубины со всех сторон — мужчины, женщины, старики, дети. У некоторых лица были размытыми, почти неразличимыми — вода стёр-

ла их черты, как время стирает память, как забвение стирает имя. У других лица были чёткими, почти живыми — они утонули недавно, может быть, год назад, может быть, месяц, может быть, вчера. Их глаза были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками. Их рты были открыты, и из них, из этой глубины, из этого ожидания, вырывалась не вода — тишина. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна.

— Не смотрите на них! — крикнула Лис, и её голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Не смотрите в глаза! Не слушайте тишину! Идите! Быстро! Не останавливайтесь!

VII

«Волки» побежали. Вода плескалась, брызги летели во все стороны, и в этих брызгах, в этом шуме, в этом страхе, твари ожили. Они бросились на людей, хватая за ноги, за руки, за головы. Их пальцы были длинными, тонкими, бледными, и они впивались в плоть, как корни, как вены, как трещины на старом, зажившем стекле. Они не убивали сразу — они тянули вниз. В глубину. В тьму. В пустоту.

Первый «Волк» — молодой парень по имени Сверри, тот самый, который вчера смеялся у костра, рассказывая исто-

рию о своей первой охоте, — исчез под водой так быстро, что никто не успел даже вскрикнуть. Только плеск. Только пузыри. Только тишина. Лис нырнула за ним, вытащила, рубанула по твари обсидиановым ножом. Клинок вошёл в бледное тело, как нож в масло, и тварь рассыпалась — не в воду, в осколки. Стеклянные, чёрные, маслянистые осколки брызнули во все стороны, и каждый осколок превратился в новую тварь. Меньше, чем первая. Быстрее. Злее. Голоднее.

— Не рубите их! — крикнул Эйнар, и его голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Только отбивайтесь! Не дайте им коснуться! Они размножаются от ударов! Как двойники! Как тени! Как пустота!

Рагнар отбивался мечом плашмя — не рубя, а отталкивая. Твари отскакивали от стали, как мячи, как капли, как память. Они не рассыпались — они только злились. Их глаза — пустые, светлые, с точечными зрачками — пульсировали в темноте, как угли, как звёзды, как надежда, которая умирает, но не хочет сдаваться.

Эйрик работал ножом — коротко, резко, экономно. Он не рубил — он колол. Остриё обсидиана входило в бледные тела, и они рассыпались, но осколки не успевали превратиться в новых тварей — Эйрик бил снова и снова, дробя их в пыль, в воду, в забвение.

— К берегу! — крикнула Ирис, и её голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — К берегу! Быстрее! Я вижу дно! Мы почти дошли!

Она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она бежала. Бежала, потому что если она остановится — раненые умрут. А умирать она им не позволяла.

VIII

Эйнар не бежал. Он шёл. Медленно, плавно, почти торжественно. Его правая рука — живая, сильная, с длинными пальцами — сжимала обсидиановый клинок. Левая, скрытая протезом, висела вдоль тела. Он не рубил — он отражал. Каждую тварь, которая подплывала слишком близко, он отбрасывал не лезвием — взглядом. Смотрел в её пустые глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — и вспоминал. Вспоминал её имя. Не настоящее — то, которое она носила при жизни. То, которое утонуло вместе с ней. То, которое теперь плыло по течению, как щепка, как лист, как память.

— Ты — Гуннар, — сказал он одной твари, и она замерла, её пустые глаза расширились. — Ты утонул в этой реке де-

сять лет назад. Ты возвращался домой, к жене, к детям. Ты нёс им подарки — нож для сына, куклу для дочери. Ты упал с моста. Вода была холодной. Ты не умел плавать. Я помню тебя, Гуннар. Я помню твоё лицо. Твоё имя. Твою смерть. Ты не забыт. Ты не исчез. Отойди. Дай мне пройти.

Тварь рассыпалась. Не в осколки — в воду. Чёрную, маслянистую, пульсирующую. Вода сомкнулась над ней, и она исчезла. Как дым, как тень, как память, которая умирает.

— Ты — Хельга, — сказал он другой, и она замерла. — Ты утонула в этой реке пять лет назад. Ты была целительницей. Ты лечила детей от лихорадки. Ты спасала тех, кто падал с обрыва. Ты не умела спасать себя. Я помню тебя, Хельга. Я помню твоё лицо. Твоё имя. Твою смерть. Ты не забыта. Ты не исчезла. Отойди. Дай мне пройти.

Тварь рассыпалась. Вторая. Третья. Четвёртая. Эйнар называл имена, которые помнил, и твари исчезали. Но их было слишком много. Он не мог помнить всех. Не мог назвать каждое имя. Не мог спасти каждую память.

— Пустой! — крикнул Рагнар, и его голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Их слишком много! Мы не успеем! Мы умрём здесь! Все! В воде! В пустоте! В забвении!

— Тогда умирайте! — ответил Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Умирайте, помня! Умирайте, называя имена! Умирайте, не сдаваясь! Мы — «Серые Волки»! Мы не сдаёмся!

IX

Альрик стоял по грудь в воде, его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. В руке он держал пустой мешок из-под пыли Стекла — старый, кожаный, перетянутый ремнями. Мешок был пуст, но Альрик прижимал его к груди, как прижимают младенца, как прижимают надежду, как прижимают имя, которое не хотят забыть.

— Пыль не поёт, — сказал он, и его голос был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Она молчит. Но я слышу. Не пыль — воду. Она поёт. Тихо. Далёко. Почти не слышно. Но поёт. Она поёт о том, что брод близко. Что берег близко. Что спасение близко. Мы должны идти. Или не идти — но не останавливаться. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он шагнул вперёд. — Идём. К берегу. К Лире. К концу — или началу. Какая разница?

Они пошли. Медленно. Плавно. Почти бесшумно. Твари нападали, но люди отбивались. Не рубя — отражая. Не убивая — помня. Эйнар называл имена, и твари исчезали. Лис колола, и осколки не успевали превратиться в новых. Рагнар отталкивал, и твари отскакивали. Ирис шла в центре, кашляя, задыхаясь, но не останавливаясь. Она держала за руку молодого «Волка» по имени Эрик — того самого, который упал вчера, того самого, который не мог идти, того самого, который теперь шёл, опираясь на неё, и его глаза были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками — но он шёл. Он шёл. Это было главным.

Они вышли на берег, когда солнце уже клонилось к закату. Небо было багровым — не кровавым, а тёплым, почти живым. Вода за их спинами успокоилась. Твари исчезли. Только чёрная, маслянистая гладь, неподвижная, как зеркало, как лёд, как пустота. И тишина. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

Часть третья. Цена переправы

X

Эйнар стоял на берегу, тяжело дыша, но не сгибаясь. Его правая рука — живая, сильная, с длинными пальцами —

дрожала. Клинок был чистым — ни крови, ни пыли, ни памяти. Только холод. Только пустота. Только ожидание. Левая рука, скрытая протезом, висела вдоль тела — чёрная, маслянистая, пустая. Она не болела. Не давила. Не напоминала о себе.

Он посмотрел на отряд. «Волки» сидели на чёрном, маслянистом песке, их лица были бледными, почти прозрачными, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками, и тёмных, глубоких, с красными прожилками — был страх. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Страх перед тем, что ты видел себя со стороны. Перед тем, что ты — не ты. Перед тем, что ты — ошибка, исключение, то, чего не должно было быть.

Потери были: один убитый — Сверри, молодой парень, который вчера смеялся у костра. Его тело осталось на дне реки, утянутое тварями в глубину, в тьму, в пустоту. Никто не знал, найдут ли его когда-нибудь. Никто не знал, захочет ли. Двое тяжело ранены — скверна проникла глубоко, в кровь, в память, в имя. Ирис обрабатывала их раны, вливала в рты отвары из сушёных трав — последние, которые остались на донышке мешка. Трое легко ранены — чёрные, маслянистые пятна на ногах, на руках, на лицах. Ирис смазывала их мазью, и мазь шипела, соприкасаясь с чёрной кожей, и пятна уменьшались, но не исчезали.

— Мы потеряли одного, — сказал Ворн, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. Но в этом голосе, в этой ровности, в этом спокойствии, была боль. Не физическая — метафизическая. Боль человека, который не смог защитить. Который не успел. Который не заплатил. — Сверри мёртв. Он утонул. Его тело осталось на дне. Мы не сможем похоронить его. Не сможем помянуть. Не сможем помнить. Он исчез. Как вода. Как время. Как пустота.

— Он не исчез, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я помню его. Я помню его лицо. Его имя. Его смех. Я помню, как он рассказывал о первой охоте. Как он смеялся, когда упал в костёр. Как он держал меч — неловко, неумело, но держал. Он не исчез, Ворн. Он — моя память. Моя плата. Моё имя. Я не забуду его. Никогда.

Он вынул из-за пазухи клочок ткани — серый, потёртый, с волчьей головой на нашивке. Не тот, от рукава Лиры — другой. Маленький, почти невидимый. Клочок от рубахи Сверри, который он оторвал, когда тот уходил под воду. Ткань была мокрой, холодной, почти ледяной. Эйнар поднёс её к лицу, вдохнул. Ткань пахла железом, потом и ещё чем-то — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом

пустоты. Но в этом запахе, в этом ожидании, в этой пустоте, он слышал не страх — смех Сверри. Молодой, звонкий, почти детский. Смех, который не умрёт. Смех, который он запомнит.

— Сверри, — сказал он, и имя это прозвучало не как вопрос — как клятва. — Я помню тебя. Я помню твоё лицо. Твоё имя. Твою смерть. Ты не забыт. Ты не исчез. Ты — моя память. Моя плата. Моё имя. Клянусь.

Он спрятал клочок за пазуху, туда, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно. Но билось.

XI

Лис и Ирис нашли след Лиры на том берегу. Он был чётким, почти идеальным, вдавленным во влажную землю с той уверенной силой, которая бывает у людей, которые знают, куда идут. Отпечатки босых ног — маленькие, узкие, с длинными пальцами. Следы неизвестного — глубокие, широкие, с неестественной чёткостью, как будто он шёл, не касаясь земли, только оставляя тень, только память, только имя.

— Они были здесь, — сказала Лис, и её голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — Несколько часов назад. Она не сопротивлялась. Не плакала.

Не звала на помощь. Она шла, как во сне, как под гипнозом, как память, которая забыла себя.

— Или не забыла, — сказал Эйнар, подходя к следу. Он опустился на корточки, провёл пальцами по отпечатку. Земля была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, он чувствовал не пустоту — память. Память о Лире. О том, как она училась держать меч. Как она падала, вставала, падала снова. Как она сказала: «Я не боюсь пустоты. Пустота боится меня». — Она боролась. Я знаю. Я чувствую. Она назвала имя Бьорна, когда неизвестный касался её лица. Она не сдалась. Она не забыла. Она — «Волчица». Она не сдаётся.

Он поднялся, стряхнул с коленей налипшую грязь. Посмотрел на юго-запад, туда, где за скалами, за лесами, за границей пустоты, ждала крепость. Ждала Лира. Ждал неизвестный. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

— Мы выступаем через час, — сказал он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — К крепости. К Лире. К концу — или началу. Какая разница?

— Никакой, — ответил Рагнар, и он поднялся, сжимая меч. — Мы идём. Все. Вместе. Как «Волки». Как семья. Мы не сдаёмся.

XII

Ночью, когда лагерь затих, а люди уснули — кто на камнях, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла, — Эйнар стоял у кромки воды, глядя на чёрную, маслянистую гладь. Река не текла. Она стояла, как стояла веками, как стояла до того, как первые люди пришли в эти горы, как стояла после того, как последние ушли. И в этой неподвижности, в этой гладкости, в этой пустоте, он увидел своё отражение. Не таким, каким он был — бледным, усталым, с красными прожилками на белках. Другим. Молодым. Сильным. С двумя руками и живыми глазами. С лицом, которое не помнило страха.

— Ты не я, — сказал он, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Ты — моё отражение. Моя тень. Моя пустота. Я не боюсь тебя. Я не боюсь пустоты. Я боюсь только одного — забыть. А я не забыл. Я помню. Я помню всё. Каждое имя. Каждое лицо. Каждую смерть. Я — Эйнар. Я — Пустой. Я — Зеркальный Пророк. Я — тот, кто смотрит в пустоту и не отводит взгляд. Я — тот, кто помнит. Даже когда память умира-

ет. Даже когда имя исчезает. Даже когда надежда умирает. Я помню.

Отражение замерло. Его лицо — молодое, сильное, без страха — исказилось. Не боль — борьба. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — мелькнуло что-то живое. Искра. Память. Имя. Оно открыло рот, пытаясь сказать что-то. Из его горла вырвался не звук — хрип. Сухой, рваный, почти нечеловеческий. А потом — треск. Оно рассыпалось. Не в пыль — в воду. Чёрную, маслянистую, пульсирующую. Вода сомкнулась над ним, и оно исчезло. Как дым, как тень, как память, которая умирает.

Ирис подошла к нему, положила голову ему на плечо. Её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она не спала. Не могла. Слишком много мыслей, слишком много страха, слишком много вопросов, на которые не было ответов.

— Ты боишься? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Нет, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Я уже боюсь. Я боюсь не

смерти — забвения. Боюсь, что завтра я войду в крепость, увижу её пустые глаза — и не смогу помочь. Не смогу вернуть её память. Не смогу вернуть её имя. Боюсь, что она станет пылью. Будет петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение.

— Ты не дашь ей стать пылью, — сказала Ирис, и она взяла его за правую руку — живую, тёплую, перевязанную. — Ты помнишь её. А память не даёт исчезнуть. Она держит. Как я держу тебя. Как ты держишь меня. Как мы держим друг друга. Мы не дадим ей исчезнуть. Клянусь.

Она сжала его руку крепче. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — стояли слёзы. Она не вытирала их. Не прятала. Не стыдилась. Она плакала от того, что он снова идёт в бой. Снова рискует. Снова платит. И она не могла остановить его. Не могла взять плату на себя. Не могла умереть вместо него.

XIII

На другом берегу, в той стороне, где они шли, мелькнула тень. Длинная, тонкая, с неестественными пропорциями. Она стояла на скале и смотрела на лагерь, на Эйнара, на его спящую фигуру, сжатую в кресле у потухшего костра. Рядом с ней — вторая тень. Хрупкая, сбитая, с чёрной повязкой на

правом глазу. Лира. Она стояла, как вкопанная, и её лицо было бледным, почти прозрачным в свете луны. Но в этом лице, в этой бледности, в этой прозрачности, Эйнар не узнал её. Не потому, что она изменилась — потому, что в ней не было того, что делало её Лирой. Не было огня в единственном глазу. Не было напряжения в плечах. Не было того, как она держала голову — чуть набок, как будто прислушивалась к чему-то, чего не слышали другие.

Она стояла прямо. Глаза её были открыты, но они были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками. Как у двойника. Как у тени. Как у пустоты.

— Лира, — прошептал Эйнар, и имя это прозвучало не как вопрос — как молитва.

Она не ответила. Не двинулась. Не посмотрела на него. Она стояла, глядя в пустоту, и в её глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было ни страха, ни надежды, ни усталости. Только пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна.

Неизвестный поднял руку — длинную, тонкую, бледную. Пальцы его были вытянуты, и они светились в темноте — холодным, голубоватым светом. Светом Стекла. Светом пустоты. Светом платы. Он указал на Эйнара. Один жест. Без

слов. Без угроз. Без надежды.

А потом — они исчезли. Растворились в темноте. Стали ничем. Как и те, кому они принадлежали. Только холод на затылке остался. И тишина. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

XIV

Эйнар не спал до рассвета. Сидел, сжимая в правой руке клочок ткани от рукава Лиры и маленький клочок от рубахи Сверри, и смотрел на юго-запад, туда, где за скалами, за лесами, за границей пустоты, ждала крепость. Ждала Лира. Ждал неизвестный. Ждала пустота. Ждал конец — или начало.

Перед глазами его не было надежды — Хозяин зеркал забрал её, заплатив за запечатывание колодца. Но была память. Память о надежде. О том, как она грела. О том, как она вела. О том, как она шептала: «Ты сможешь. Ты победишь. Ты выживешь».

Он не чувствовал её. Но помнил. И этого было достаточно, чтобы идти.

Ирис спала рядом, положив голову ему на плечо. Её ды-

хание было ровным, спокойным, почти механическим. Она держала его. Не давила — держала. Как человек держит человека. Как память держит имя. Как надежда держит тех, кто не сдаётся.

И этого было достаточно.

Утром — в путь. К крепости. К Лире. К концу — или началу.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 23

ГЛАВА 24. БОЙ НА МОСТУ

Часть первая. Единственный путь

I

Ущелье, в которое привел их след Лиры, не было похоже на те, что Эйнар видел раньше. Не на то, первое, где двойники напали из-за каждого камня, и воздух дрожал от скрежета стеклянных зубов. Не на то, второе, где стены сходились так близко, что небо превращалось в узкую, дрожащую щель, похожую на трещину в старом, зажившем стекле. Это ущелье было шире, ниже, приземистее, и в нем не было ни камней, ни пыли, ни даже привычной черной, маслянистой

слизи на стенах. В нем была вода.

Черная река не текла — она стояла. Она наполняла ущелье от края до края, от скалы до скалы, и вода ее была гладкой, как зеркало, как лед, как пустота. Она не отражала серое, предрассветное небо — она впитывала его, превращала в тьму, в ожидание, в страх. Берега были крутыми, каменистыми, покрытыми колючим, низким кустарником, который не зеленел — чернел, сворачивался, умирал на глазах.

Эйнар стоял на краю обрыва и смотрел вниз. Туда, где единственный мост соединял два берега.

Мост был старым. Очень старым. Старше, чем Корвус. Старше, чем Чёрный Пик. Старше, чем пустота, которую они знали. Его строили еще в те времена, когда Домены не знали Распада, а война была войной людей с людьми, а не с отражениями. Две каменные опоры — одна на этом берегу, другая на том, — держали толстые, скрученные из сотен прядей канаты. Канаты были черными, маслянистыми, пропитанными чем-то, что не было смолой. Настил — из старых, почерневших досок, — местами провалился, местами торчал щепой, и сквозь щели виднелась вода. Черная, маслянистая, неподвижная.

Она не текла. Она ждала.

— Плохое место, — сказала Лис, появляясь за его спиной. Она была бесшумной, как тень, как призрак, как память, но Эйнар почувствовал ее присутствие еще до того, как услышал голос. Что-то изменилось в воздухе. Появилась та особенная, звенящая нота, которая бывает, когда разведчик приносит плохие вести. — Я обошла ущелье с юга. В обход — сутки. Не меньше. Тропа завалена, мост через другой приток размыт. Если мы пойдем в обход — Лира умрет. Или не умрет — но мы не успеем. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть выбора. Тяжесть платы. Тяжесть имени, которое исчезало. — Мы идем по мосту. Сейчас. Пока она еще жива.

II

Рагнар подошел к краю обрыва, посмотрел вниз. Его лицо — грубое, обветренное, с глубоким шрамом через левую щеку — было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он сжимал в правой руке меч — длинный, двуручный, с черной, маслянистой рукоятью, — и его пальцы — толстые, кривые, с черной каймой под ногтями — дрожали. Не от страха —

от напряжения. Он смотрел на мост, на воду под ним, на тени, которые клубились у опор, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была не ярость — усталость. Такая же, как у всех. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая.

— Там кто-то есть, — сказал он, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — В воде. У опор. Я не вижу их — я чувствую. Они ждут. Они знают, что мы идем. Они голодны.

— Не смотри на них, — сказал Эйнар, и он положил правую руку на плечо Рагнара — живую, сильную, с длинными пальцами, сбитыми костяшками. — Не смотри в воду. Не смотри в тени. Смотри только на противоположный берег. На цель. На Лиру. Мы перейдем. Все. Вместе. Клянусь.

Альрик сидел на камне в двадцати шагах от обрыва, привалившись спиной к холодному, шершавому валуну, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. В руке он держал пустой мешок из-под пыли Стекла — старый, кожаный, перетянутый ремнями. Мешок был пуст, но Альрик прижимал его к груди, как прижимают младенца, как прижимают надежду, как прижимают имя, которое не хотят забыть. Он не спал. Никогда не спал, когда чувствовал скверну. Спать,

когда пустота рядом, — значит умереть.

— Я слышу их, — сказал он, и его голос был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Не водой — камнями. Они поют. Тихо. Далёко. Почти не слышно. Но поют. Они поют о том, кто строил этот мост. О том, кто упал с него. О том, кто утонул. О том, кто ждет. У них есть время. Вечность.

— У нас нет времени, — ответил Эйнар, и он повернулся к отряду. — Мы выступаем через четверть часа. «Волки» — в колонну по одному. Лис и Рагнар — в авангарде. Ирис — в центре, с ранеными. Я — замыкаю. Ворн — ты с теми, кто не может держать оружие, в середине колонны. Держитесь за поручни. Не смотрите в воду. Не смотрите в тени. Идите быстро, но не бегите. Твари чувствуют страх. Не бойтесь. Или бойтесь — но не показывайте. Идем.

III

Они выстроились у края обрыва, у того места, где мост крепился к каменной опоре. Доски были старыми, почерневшими, покрытыми тонкой, маслянистой коркой, которая блестела в свете тусклого утреннего солнца, как зеркало, как лед, как пустота. Канаты вибрировали — не от ветра, от чего-то другого, что было глубже, чем биение сердца. Глубже, чем дыхание. Глубже, чем имя.

Ирис стояла в центре колонны, ее лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в легкие, и она не могла откашляться. Но она не жаловалась. Не останавливалась. Она держала за руку молодого «Волка» по имени Эрик — того самого, который упал вчера, того самого, который не мог идти, того самого, который теперь шел, опираясь на нее, и его глаза были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками, — но он шел. Он шел. Это было главным.

— Эрик, — сказала она, и ее голос был тихим, почти шепотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Ты помнишь меня? Ты помнишь, как я перевязывала твою ногу? Как я вливала в тебя отвар? Как я сказала: «Ты будешь жить»? Ты помнишь?

Эрик смотрел на нее долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать. Его губы шевельнулись, пытаясь произнести слово. Какое-то одно, самое важное, самое нужное, самое настоящее.

— По-мню, — прошептал он, и звук этот был тихим, почти не слышным, но в этой тишине каждое слово звучало

как рождение.

— Хорошо, — сказала Ирис, и она сжала его руку крепче. — Иди за мной. Не смотри в воду. Смотри на мою спину. Иди.

Лис шагнула на мост первой. Ее сапог коснулся первой доски, и доска не скрипнула — она застонала. Тонко, болезненно, почти по-человечески. Лис замерла на мгновение, прислушалась. Тишина. Только плеск воды внизу. Только вибрация канатов. Только ее собственное сердце, которое колотилось где-то в горле. Она сделала второй шаг. Третий. Четвертый. Мост раскачивался под ее ногами, но она не останавливалась. Ее единственный глаз — живой, острый, почти хищный — смотрел только вперед. На противоположный берег. На цель. На Лиру.

Рагнар пошел за ней. Его шаги были тяжелыми, уверенными, почти ломающими — доски прогибались, но не ломались. Он не смотрел вниз. Он смотрел на спину Лис. На ее черный, потрепанный плащ, на волчью голову на нашивке. Он шел, потому что если он остановится — умрет. А умирать он не хотел. Не здесь. Не сейчас. Не от воды.

За Рагнаром пошли остальные. «Волки» — один за другим, держась за поручни, не глядя по сторонам. Ворн — в

центре, его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он сжимал рукоять топора так, что костяшки побелели, и его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — были закрыты. Он не смотрел. Не мог. Если он откроет глаза — он увидит воду. Если он увидит воду — он вспомнит. Если он вспомнит — он испугается. А страх — это память. А память — это смерть.

Ирис и Эрик шли в середине колонны. Ирис кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в легкие, и она не могла откашляться. Но она шла. Она шла, потому что если она остановится — Эрик остановится. А если Эрик остановится — он умрет. А умирать она ему не позволяла.

Эйнар шел последним. Его правая рука — живая, сильная, с длинными пальцами — лежала на обсидиановом клинке, готовая выхватить его в любой момент. Левая рука, скрытая протезом из обсидиана и старой кожи, висела вдоль тела — черная, маслянистая, пустая. Она не болела. Не давила. Не напоминала о себе. Он не смотрел в воду. Он смотрел вперед, на спины идущих. И считал.

Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать.

Тринадцать человек на мосту. Тринадцать жизней. Тринадцать имен, которые он должен был запомнить, если они умрут. Он запомнит. Он помнил всех. Каждое имя. Каждое лицо. Каждую смерть. Он помнил.

Часть вторая. Мост как ловушка

IV

Лис прошла треть моста, когда почувствовала запах.

Он был сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом пустоты. Но не мёртвым, не выветрившимся — живым. Свежим. Горячим. Как будто пустота только что выдохнула, только что открыла глаза, только что проснулась. Лис замерла, подняла руку — сигнал остановки. Отряд замер. Только плеск воды внизу, только скрип досок, только дыхание. И тишина.

— Они здесь, — сказала Лис, и ее голос был тихим, почти шепотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — На том берегу. За скалами. Я чую их. Много. Слишком много. Они ждут. Они знают, что мы идем.

— Сколько? — спросил Рагнар, и его голос был низким,

рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице.

— Не знаю, — ответила Лис, и она покачала головой. — Не вижу — только чувствую. Они не двигаются. Лежат на камнях. Ждут. Как змеи. Как тени. Как пустота. Если мы будем двигаться — они нападут. Не с этого берега — с того. Когда мы будем ближе. Когда не сможем отступить.

— Тогда идем, — сказал Эйнар из конца колонны, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Идем медленно. Спокойно. Не дыша. Не думая. Не боясь. Мы — камни. Мы — тени. Мы — пустота. Пустота не боится пустоты. Пустота не нападает на пустоту. Пустота только ждет.

Они пошли дальше. Шаг за шагом. Медленно. Плавно. Почти бесшумно. Мост раскачивался под их ногами, но они не останавливались. Лис шла первой, ее единственный глаз сканировал противоположный берег, скалы, тени. Она искала врага. Искала ловушку. Искала смерть.

V

Первая стрела прилетела, когда они прошли две трети моста. Она была черной, маслянистой, почти живой — не дере-

во, не металл, не кость. Сгусток тьмы, который принял форму стрелы. Она летела прямо в грудь Лис. Лис успела уйти в сторону — резко, почти инстинктивно, — и стрела вонзилась в доску у ее ног. Доска не треснула — она застонала. Тонко, болезненно, почти по-человечески. Из дыры, из этой глубины, из этого ожидания, начала сочиться черная, маслянистая жидкость. Она текла по доске, как кровь, как память, как плата.

— Стрелки! — крикнула Лис, и ее голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — На скалах! Пригнуться! Щиты вверх!

Вторая стрела. Третья. Четвертая. Они летели с противоположного берега — не из луков, из пустоты. Из черной, маслянистой тьмы, которая клубилась за скалами, принимала форму, стреляла. «Волки» подняли щиты, но тьма проходила сквозь дерево и железо, как нож проходит сквозь воду. Она не ранила плоть — она выжигала память. Те, в кого попадала стрела, падали на доски, их глаза становились пустыми, светлыми, с точечными зрачками. Они не кричали. Не стонали. Не молились. Они просто забывали, кто они. И умирали.

Молодой «Волк» по имени Ингвар — тот самый, который вчера чистил доспехи у костра и напевал старую, север-

ную песню о возвращении домой, — упал на колени. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали не голубые жилки — черные, маслянистые, живые. Скверна прошла сквозь щит, сквозь доспехи, сквозь кожу. Она добралась до сердца. Он смотрел на свои руки — пустые, дрожащие, — и не узнавал их. Он смотрел на Лис, но не видел ее. Он смотрел на небо, но не видел неба. Он видел только пустоту.

— Ингвар! — крикнула Ирис, и она бросилась к нему, упала на колени рядом, влила в рот отвар из сушеных трав — последний, который оставался на донышке мешка. — Пей! Пей, ради всего святого! Не умирай! Не исчезай! Не становись пылью!

Но было поздно. Ингвар выпил отвар, не чувствуя вкуса, не чувствуя горечи, не чувствуя ничего. Его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на Ирис, но не видели ее. Его губы шевельнулись, пытаясь произнести слово. Какое-то одно, самое важное, самое нужное, самое настоящее.

— Ма... — прошептал он, и звук этот был тихим, почти не слышным, но в этой тишине каждое слово звучало как рождение. — Ма-ма.

Потом он умер. Или не умер — исчез. Или не исчез — стал пылью. Какая разница?

VI

Ирис не плакала. Не кричала. Не молилась. Она сжала челюсти, оттолкнула тело Ингвара к поручню, чтобы не мешало идти, и поднялась. Ее лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в легкие, и она не могла откашляться. Но она не останавливалась. Она пошла дальше, держа за руку Эрика, и ее шаги были твердыми, уверенными, почти ломающими.

— Ирис! — крикнул Эйнар, и его голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Не останавливайся! Иди! Я прикрою!

Он выхватил обсидиановый клинок и бросился к поручню, туда, откуда летели стрелы. Не на противоположный берег — к краю моста, к тому месту, где скалы подходили ближе всего к воде. Он не мог достать до стрелков — они были слишком далеко. Но он мог отвлечь их. Он поднял клинок, и черная сталь блеснула в свете утреннего солнца, отражая не свет — тьму, впитывая его, превращая в пустоту, в ожидание, в память.

— Смотрите на меня! — крикнул он, и его голос был громким, почти стальным. — Смотрите, твари! Я — Эйнар! Я — Пустой! Я — Зеркальный Пророк! Я — тот, кто смотрит в пустоту и не отводит взгляд! Я — тот, кто помнит! Даже когда память умирает! Даже когда имя исчезает! Даже когда пустота зовет! Я помню! Смотрите на меня!

Стрелы на мгновение замерли. Тьма за скалами заколебалась, зашевелилась, задышала. Она узнала его. Она помнила его. Она боялась его.

— Бегите! — крикнул Эйнар, не оборачиваясь. — Бегите к берегу! Я задержу их!

Лис побежала. Рагнар побежал. «Волки» побежали. Доски трещали, канаты скрипели, мост раскачивался, но они бежали. Ирис бежала, волоча за собой Эрика, и ее легкие разрывались от кашля, от дыма, от памяти. Она бежала, потому что если она остановится — умрет. А умирать она не хотела. Не здесь. Не сейчас. Не от стрелы.

Стрелы полетели снова. Но теперь они летели не в «Волков» — в Эйнара. В него одного. Он уклонялся, отбивал, парировал. Черные, маслянистые сгустки тьмы вонзались в доски у его ног, в канаты над головой, в поручни слева

и справа. Мост стонал, канаты вибрировали, доски крошились. Но Эйнар стоял. Он стоял, и его клинок мелькал перед его глазами, как черная молния. Рубка справа — стрела рассыпается в пыль. Рубка слева — стрела исчезает, не успев коснуться. Удар снизу — стрела взрывается тьмой, но тьма не касается его, потому что он — Пустой. А Пустые не боятся пустоты.

VII

Он не заметил, как вода под мостом начала кипеть.

Первая рука вынырнула из глубины в трех шагах от опоры. Она была длинной, тонкой, бледной, с неестественно длинными пальцами, которые заканчивались не ногтями — осколками стекла. Черного, маслянистого, пульсирующего. Она вцепилась в канат, и канат заскрипел, застонал, почти закричал. Вторая рука. Третья. Четвертая. Их были десятки. Они лезли из воды, из тины, из пустоты, цеплялись за канаты, за доски, за опоры. Они не лезли на мост — они раскачивали его. Медленно. Неумолимо. Неотвратимо.

— Рагнар! — крикнул Эйнар, и его голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Руки! В воде! Руби их!

Рагнар подбежал к краю моста, посмотрел вниз. Его лицо

было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он увидел руки. Десятки рук. Они тянулись к нему, к мосту, к канатам. Они хотели не убить — утопить. Утянуть в глубину. В тьму. В пустоту.

— Будь проклята, пустота! — крикнул Рагнар, и он рубанул по ближайшей руке мечом.

Клинок вошел в бледную плоть, как нож в масло, и рука рассыпалась — не в пыль, в осколки. Стеклянные, черные, маслянистые осколки брызнули во все стороны, и каждый осколок превратился в новую руку. Меньше, чем первая. Быстрее. Злее. Голоднее. Они вцепились в канаты с удвоенной силой, и мост застонал громче.

— Не руби! — крикнул Эйнар, и его голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Не руби, идиот! Только отбивай! Не дай им зацепиться! Жди! Я скажу, когда бить!

Рагнар отскочил от края, его меч дрожал в руке. Он не знал, что делать. Не знал, как остановить их. Не знал, как спасти мост. Он только смотрел, как руки лезут из воды, цепляются за канаты, раскачивают мост все сильнее, все опаснее, все беспамятнее.

— Лис! — крикнул Эйнар. — Веди их! К берегу! Быстро!

Лис не ответила. Она бежала. Ее ноги несли ее быстро, почти бесшумно, и ее единственный глаз — живой, острый, почти хищный — смотрел только вперед. На берег. На цель. На надежду.

Она добежала до конца моста, когда доски под ее ногами начали проваливаться. Она прыгнула — не глядя, не думая, не боясь. Ее сапоги коснулись камня, и она упала на колени, тяжело дыша, но не сгибаясь. Она была на твердой земле. Она была жива. Это было главным.

За ней прыгнул Рагнар. За ним — Ворн, Эйрик, Орм, «Волки». Они падали на камни, цеплялись за скалы, ползли, карабкались, но они были на берегу. Они были живы.

Ирис прыгнула последней из тех, кто был впереди. Она прыгнула, волоча за собой Эрика, и их тела ударились о камни. Эрик застонал — впервые за много часов, впервые с тех пор, как он потерял сознание в штольнях. Он был жив. Он чувствовал боль. Это было главным.

Ирис подняла голову, посмотрела на мост. На середине, у самой глубокой части ущелья, стоял Эйнар. Один. Его клинок блестел в свете утреннего солнца, и он рубил канаты.

Часть третья. Прикрытие отхода

VIII

Эйнар не считал руки, которые лезли из воды. Не считал стрелы, которые летели со скал. Не считал удары своего сердца. Он рубил. Правой рукой, живой, сильной, с длинными пальцами. Левой, скрытой протезом, он держался за поручень, чтобы не упасть. Доски под его ногами крошились, прогибались, исчезали. Но он стоял. Он стоял, потому что если он упадет — мост рухнет раньше, чем «Волки» доберутся до берега. А он не мог допустить, чтобы они упали. Не мог. Он помнил их имена. Он не хотел добавлять новые к списку.

Первый канат — правый, навесной — он перерубил одним ударом. Обсидиан вошел в скрученные пряди, как нож в масло, и канат лопнул. Не громко — глухо, как лопается струна на старых гуслях, когда пальцы музыканта застывают в последнем аккорде, а эхо еще дрожит в воздухе, но уже неживое, не теплое, не настоящее. Канат повис, и мост накренился. Доски накренились. Люди, которые еще не добежали до берега, закричали — не от боли, от страха.

— Бегите! — крикнул Эйнар, и его голос прорвал тишину,

как меч прорывает кожу. — Бегите, пока я держу!

Второй канат — левый, навесной — он перерубил вторым ударом. Мост накренился сильнее. Доски посыпались в воду. Твари — руки, стрелы, тени — замерли на мгновение, а потом бросились на него. Все сразу. Они лезли из воды, из воздуха, из пустоты. Они хотели убить его. Утянуть в глубину. В тьму. В пустоту.

Эйнар не отступил. Он встал спиной к поручню, поднял клинок, и начал отбиваться. Не рубя — отражая. Не убивая — помня. Каждую тварь, которая подплывала слишком близко, он отбрасывал не лезвием — взглядом. Смотрел в ее пустые глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — и вспоминал. Вспоминал ее имя. Не настоящее — то, которое она носила при жизни. То, которое утонуло вместе с ней. То, которое теперь плыло по течению, как щепка, как лист, как память.

— Ты — Гуннар, — сказал он одной твари, и она замерла, ее пустые глаза расширились. — Ты утонул в этой реке десять лет назад. Ты возвращался домой, к жене, к детям. Ты нес им подарки — нож для сына, куклу для дочери. Ты упал с моста. Вода была холодной. Ты не умел плавать. Я помню тебя, Гуннар. Я помню твое лицо. Твое имя. Твою смерть. Ты не забыт. Ты не исчез. Отойди. Дай мне пройти.

Тварь рассыпалась. Не в осколки — в воду. Черную, маслянистую, пульсирующую. Вода сомкнулась над ней, и она исчезла. Как дым, как тень, как память, которая умирает.

Но на ее месте появлялись новые.

IX

К берегу добежали все. Последним был Ворн. Он прыгнул, когда мост уже разваливался на части, и упал на камни, разбивая колени, раздирая руки, но не чувствуя боли. Он вскочил, оглянулся. На середине ущелья, на обломках моста, стоял Эйнар. Один. Его клинок блестел в свете утреннего солнца, и он рубил последний канат — несущий. Тот, который держал мост.

— Пустой! — крикнул Ворн, и его голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Прыгай! Мост рушится! Прыгай, идиот!

Эйнар не слышал. Или слышал, но не ответил. Он рубил. Канат лопнул, и мост рухнул. Доски, канаты, опоры — все обрушилось в воду. Черную, маслянистую, пульсирующую. Вода взметнулась вверх, как фонтан, как гейзер, как смерть. Она накрыла Эйнара с головой, утянула в глубину, в тьму,

в пустоту.

— Нет! — закричала Ирис, и ее голос прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Нет! Эйнар! Нет!

Она бросилась к воде, но Лис успела схватить ее за плечо — не грубо, но твердо. Ее пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — впились в плечо Ирис, и она остановилась.

— Жди, — сказала Лис, и ее голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — Он живет. Я знаю. Я чувствую. Он — Пустой. Пустота не топит Пустых. Она только ждет. Жди.

Ирис смотрела на воду. Черную, маслянистую, неподвижную. Она не кипела. Не бурлила. Не дышала. Она просто стояла, как стояла веками, как стояла до того, как первые люди пришли в эти горы, как стояла после того, как последние ушли. И в этой неподвижности, в этой гладкости, в этой пустоте, Ирис увидела движение. Рука. Правая. Живая. С длинными пальцами, сбитыми костяшками. Она вынырнула из воды, вцепилась в камень у самого берега, и тело — бледное, мокрое, почти прозрачное — выползло на сушу.

Эйнар лежал на камнях, тяжело дыша, но не сгибаясь.

Его лицо было бледным, почти прозрачным, и из носа текла кровь — темная, густая, почти черная — и капала на камень, отражаясь в свете утреннего солнца, множась, распадаясь, собираясь заново. Правая рука дрожала. Левая, скрытая протезом, висела плетью — протез был сорван, ремни порваны, кожа разодрана. Культя была открыта — ровная, гладкая, покрытая тонкой, прозрачной кожей, за которой пульсировал свет. Холодный, голубоватый, пульсирующий. Свет Стекла. Свет пустоты. Свет платы.

— Жив, — прошептал он, и его голос был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Жив, Ирис. Не умер. Не исчез. Не стал пылью. Жив.

Ирис упала на колени рядом с ним, обняла, прижала к себе. Крепко. Почти до боли. Ее пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с темными пятнами на коже — вцепились в его спину, и она чувствовала, как он дрожит. Мелко, нервно, в такт чему-то, что было глубже, чем биение сердца. Глубже, чем дыхание. Глубже, чем имя.

— Ты идиот, — прошептала она, и ее голос был тихим, почти шепотом, но в этой тишине каждое слово звучало как молитва. — Ты мог умереть. Ты мог исчезнуть. Ты мог стать пылью. Зачем? Зачем ты полез на этот мост? Зачем рубил канаты? Зачем не прыгнул раньше?

— Потому что я должен был прикрыть вас, — ответил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Потому что если бы я прыгнул раньше — мост рухнул бы на вас. Вы бы упали в воду. Твари утянули бы вас. Вы бы исчезли. А я не хочу, чтобы вы исчезали. Я хочу, чтобы вы жили. Даже если для этого нужно умереть. Даже если я умру. Вы будете жить. Клянусь.

Она сжала его крепче. В ее глазах — темных, глубоких, с красными прожилками на белках — стояли слезы. Она не вытирала их. Не прятала. Не стыдилась. Она плакала от того, что он снова заплатил. Снова. Своей памятью. Своим временем. Своим именем. Своим протезом.

— Твоя рука, — сказала она, и ее голос дрогнул. — Протез сорван. Ремни порваны. Культя открыта. Ты не сможешь сражаться. Не сможешь держать клинок. Не сможешь защитить себя.

— Смогу, — ответил он, и он посмотрел на свою правую руку — живую, сильную, с длинными пальцами. — У меня есть правая. Этого достаточно. Этого всегда достаточно.

Часть четвертая. Последний удар

X

Лис подошла к краю обрыва, посмотрела вниз. Вода успокоилась. Твари исчезли. Только черная, маслянистая гладь, неподвижная, как зеркало, как лед, как пустота. Обломки моста торчали из воды, как кости, как пальцы, как память. Она смотрела на них, и в ее единственном глазу — живом, остром, почти хищном — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Мост разрушен, — сказала она, и ее голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — Твари не переправятся. Мы в безопасности. На время. На день. На два. Не больше.

— Этого достаточно, — сказал Эйнар, и он поднялся, опираясь на правую руку. Его левая культя, обнаженная, пульсировала голубоватым светом — слабо, почти незаметно, но достаточно, чтобы все видели. Он не прятал ее. Не стыдился. Она была частью его. Как память. Как имя. Как пустота, которая больше не звала, но и не отпускала. — Мы идем дальше. К крепости. К Лире. К концу — или началу. Какая разница?

— Никакой, — ответил Рагнар, и он поднял меч. Сталь

блеснула в свете утреннего солнца — тусклого, серого, почти мертвого, — и на лезвии не было пыли. — Вперед! К крепости! Шагом марш!

XI

Потери были: один убитый — Ингвар, молодой парень, который вчера чистил доспехи у костра и напевал старую, северную песню о возвращении домой. Его тело осталось на мосту, упало в воду, утянутое тварями в глубину, в тьму, в пустоту. Никто не знал, найдут ли его когда-нибудь. Никто не знал, захочет ли.

Трое тяжело ранены — скверна проникла глубоко, в кровь, в память, в имя. Ирис обрабатывала их раны, вливала в рты отвары из сушеных трав — последние, которые оставались на донышке мешка. Трое легко ранены — черные, маслянистые пятна на ногах, на руках, на лицах. Ирис смазывала их мазью, и мазь шипела, соприкасаясь с черной кожей, и пятна уменьшались, но не исчезали.

У Эйнара был сорван протез. Ремни порваны, кожа разодрана, металлические кольца погнуты. Тоомаса не было рядом, чтобы починить его. Эйнар взял ремни от старой сбруи, которые нашел в сумке у одного из «Волков», и закрепил протез на культе. Кожа скрипнула, кольца заскрежетали, но

протез держался. Криво. Неудобно. Но держался.

— Ты не сможешь им сражаться, — сказал Ворн, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. — Протез сломан. Он только мешает. Сними его. Сражайся одной рукой. Ты и так это умеешь.

— Нет, — ответил Эйнар, и он затянул ремни крепче. — Он — часть меня. Как шрам. Как имя. Как память. Если я сниму его — я признаю, что пустота победила. А она не победила. Я не сдаюсь. Даже без протеза. Даже без надежды. Даже без имени. Я иду.

XII

Они разбили лагерь в полумиле от крепости, у подножия скал, где ветер дул с трех сторон сразу, но не приносил ничего, кроме холода. Костры разжигать не стали — боялись привлечь внимание. Люди сидели в темноте, прижавшись друг к другу, и их дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Они не спали. Не могли. Слишком много страха, слишком много крови, слишком много потерь.

Эйнар сидел на камне, глядя на крепость. Черные стены, узкие окна, высокие башни. Ворота были открыты — широко, как распахнутая пасть, как открытая дверь, как зеркало, которое ждет. На стене, на самом верху, у края, стояли две фигуры. Одна была длинной, тонкой, с неестественными пропорциями. Неизвестный. Тот, кто забрал Лиру. Тот, кто коснулся ее лица. Тот, кто утянул ее в зеркало. Он стоял неподвижно, и его черный плащ не колыхался на ветру — он висел, как висит знамя в безветренном зале, как саван над могилой, как память над забвением.

Рядом с ним — вторая фигура. Хрупкая, сбитая, с черной повязкой на правом глазу. Лира. Она стояла, как вкопанная, и ее лицо было бледным, почти прозрачным в свете луны. Но в этом лице, в этой бледности, в этой прозрачности, Эйнар не узнал ее. Не потому, что она изменилась — потому, что в ней не было того, что делало ее Лирой. Не было огня в единственном глазу. Не было напряжения в плечах. Не было того, как она держала голову — чуть набок, как будто прислушивалась к чему-то, чего не слышали другие.

Она стояла прямо. Глаза ее были открыты, но они были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками. Как у двойника. Как у тени. Как у пустоты.

— Лира, — прошептал Эйнар, и имя это прозвучало не

как вопрос — как молитва.

Она не ответила. Не двинулась. Не посмотрела на него.

Ирис подошла к нему, села рядом. Ее лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в легкие, и она не могла откашляться. Но она не жаловалась. Она просто сидела, и ее плечо касалось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память. Память о тех, кто остался. О тех, кто не сдался. О тех, кто все еще дышал.

— Ты боишься? — спросила она, и ее голос был тихим, почти шепотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Нет, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Я уже боюсь. Я боюсь не смерти — забвения. Боюсь, что завтра я войду в крепость, увижу ее пустые глаза — и не смогу помочь. Не смогу вернуть ее память. Не смогу вернуть ее имя. Боюсь, что она станет пылью. Будет петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение.

— Ты не дашь ей стать пылью, — сказала Ирис, и она взяла его за правую руку — живую, теплую, настоящую. — Ты помнишь ее. А память не дает исчезнуть. Она держит. Как я держу тебя. Как ты держишь меня. Как мы держим друг друга. Мы не дадим ей исчезнуть. Клянусь.

Она сжала его руку крепче. В ее глазах — темных, глубоких, с красными прожилками на белках — стояли слезы. Она не вытирала их. Не прятала. Не стыдилась. Она плакала от того, что он снова идет в бой. Снова рискует. Снова платит. И она не могла остановить его. Не могла взять плату на себя. Не могла умереть вместо него.

XIII

Лис вернулась из разведки через час. Ее лицо было бледным, почти прозрачным, и в единственном глазу — живом, остром, почти хищном — было напряжение. То самое, которое бывает у зверя, когда он чует опасность, но не знает, откуда она придет.

— Ворота открыты, — сказала она, и ее голос был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась сталь. — Ни стражи. Ни двойников. Ни теней. Только пустота. Он ждет нас. Она ждет нас. Они знают, что мы пришли.

Они не прячутся. Не готовятся к обороне. Просто ждут.

— Тогда завтра мы войдем, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Все. Вместе. Как «Волки». Как семья. Мы не сдаемся.

Рагнар поднялся, сжимая меч. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на крепость, на стены, на две тени, которые не двигались, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была решимость. Холодная, тяжёлая, почти невыносимая решимость человека, который знал, что идет на смерть, но не мог не идти.

— Завтра мы ее вернем, — сказал он, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Или умрем рядом. Так или иначе — это кончится.

Эйнар смотрел на крепость. Черные стены, узкие окна, высокие башни. Ворота были открыты. Ждали. Он встал, затянул ремни сломанного протеза, проверил клинок. Правая рука — живая, сильная, с длинными пальцами — сжимала рукоять. Левая культя пульсировала голубоватым светом. Он

не прятал ее. Не стыдился. Она была частью его. Как память. Как имя. Как пустота, которая больше не звала, но и не отпускала.

— Завтра, — сказал он, и его голос был тихим, почти шепотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Я иду за тобой, Лира. Я верну тебя. Или узнаю, что с тобой стало. Клянусь. Памятью. Именем. Кровью.

Он вынул клочок ткани от ее рукава — серый, потрепанный, с волчьей головой на нашивке, — прижал к губам. Ткань была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как обсидиан, как вода в колодце мертвой деревни, как пустота. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, он чувствовал не пустоту — память. Память о ней. О том, как она училась держать меч. Как она падала, вставала, падала снова. Как она сказала: «Я не боюсь пустоты. Пустота боится меня».

— Я помню, — прошептал он, и он спрятал клочок за пазуху, туда, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно. Но билось.

Ирис спала рядом, положив голову ему на плечо. Ее дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она держала его. Не давила — держала. Как человек держит че-

ловека. Как память держит имя. Как надежда держит тех, кто не сдается.

И этого было достаточно.

Утром — бой. Утром — крепость. Утром — Лира. Или конец. Какая разница?

КОНЕЦ ГЛАВЫ 24

ГЛАВА 25. УЩЕЛЬЕ – ВХОД ВО ВЛАДЕНИЯ

Часть первая. Каменные врата

I

Эйнар проснулся от того, что левая рука онемела. Не привычно — как это бывало по утрам, когда протез сдавливал культю слишком сильно, а ремни впивались в плечо, оставляя красные, воспалённые следы. Немота была другой: глубинной, почти пугающей, как будто рука — та, которой больше не было, — всё ещё чувствовала холод, но не могла пошевелиться. Он сел на лежанке, глядя на серое, предрассветное небо, и не сразу понял, что смотрит на небо, а не на камен-

ный потолок. Лагерь разбили на открытом месте, у подножия скал, в полумиле от ущелья. Вчера они перешли Чёрную реку, потеряли Ингвара, сожгли мост. Вчера Эйнар стоял на обломках, рубил канаты, падал в воду, тонул — и выплыл. Он выплыл. Это было главным.

Правая рука, живая, сильная, с длинными пальцами, сбитыми костяшками, лежала поверх шерстяного одеяла. Повязка на костяшках почернела — под ней запеклась кровь, смешанная с чем-то чёрным, маслянистым, что не хотело сворачиваться, не хотело сохнуть, не хотело исчезать. Память о вчерашнем. О мосте. О руках, которые лезли из воды. О стрелах, которые летели со скал. О крике Ирис, когда он ушёл под воду.

Левая культя была открыта. Протез — тот самый, который Тоомас сковал за одну ночь из обсидиана и старой кожи, — валялся рядом на камне, перевязанный ремнями от старой сбруи. Ремни порвались, когда он падал в воду. Кожа разодралась, металлические кольца погнулись, потеряли форму. Эйнар взял протез в руки, повертел, проверяя. Он был мёртв. Не сломан — мёртв. Как пыль Стекла в мешке Альрика. Как память, которая умирает, но не хочет исчезать. Он положил протез обратно на камень. Надевать не стал. Бесполезно. Только мешать будет.

— Ты не спал, — сказала Ирис, садясь рядом. Она вышла из палатки бесшумно, как тень, как призрак, как память, но Эйнар почувствовал её присутствие ещё до того, как услышал голос. Что-то изменилось в воздухе. Появилась та особенная, звенящая нота, которая бывает, когда рядом тот, кто не даёт тебе умереть.

— Спал, — ответил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть снов, которые не были снами. — Мне снились костры. На скалах. Много. Они горели без дыма, без огня, без тепла. Просто светились. Как глаза. Как зеркала. Как пустота. А в центре, между ними, стояла она. Смотрела на меня. Не говорила. Не двигалась. Смотрела.

Ирис смотрела на него долго, изучающе. Её лицо было бледным, почти прозрачным в сером предрассветном свете, и под глазами залегли тени — не те, обычные, которые проходят после нескольких часов отдыха, а глубокие, чёрные, как вода в колодце мёртвой деревни. Она не спала третью ночь подряд. Не могла. Слишком много раненых, слишком много страха, слишком много надежды, которая умирала, но не хотела сдаваться. Она кашлянула — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться.

— Она была жива? — спросила Ирис, и её голос дрогнул. — Во сне. Ты видел её живой?

— Не знаю, — ответил Эйнар, и он посмотрел на свои руки — правую, живую, и левую культю, обнажённую, пульсирующую слабым голубоватым светом. — Она стояла. Не падала. Не рассыпалась. Но в её глазах не было ничего. Только пустота. Как у двойника. Как у тени. Как у тех, кто забыл свои имена.

Он замолчал. Ирис молчала. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, в лагере, перекликались часовые.

II

Рагнар нашёл его у края лагеря, когда солнце поднялось над горами, разогнав утренний туман, но не принеся тепла. Небо было серым, низким, с рваными облаками, которые плыли медленно и важно, словно у них было много времени. Ветер дул с севера, холодный, колючий, пахнущий снегом и мёрзлой землёй.

— Потери, — сказал Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. Он стоял, сжимая в правой руке меч — длин-

ный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью. Левая рука, перевязанная после боя в ущелье, всё ещё болела, но он не жаловался. Жаловаться было некому. И незачем. — Ингвар мёртв. Его тело осталось в воде. Мы не сможем похоронить его. Двое тяжело ранены — скверна добралась до лёгких. Ирис говорит, что они могут не выжить. Или выжить — но забыть свои имена. Или не забыть — но стать пустыми. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он поднялся, стряхнул с коленей налипшую грязь. Его левая культя пульсировала слабым голубоватым светом — не больно, не тревожно, а как-то привычно, почти уютно. Как будто эта пульсация была частью его, такой же естественной, как дыхание, как сердцебиение, как память. — Раненые остаются здесь. Ворн — с ними. За старшего. Остальные идут со мной. В ущелье. К крепости. К Лире.

— Без привалов? — спросил Рагнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку.

— Без привалов, — ответил Эйнар. — Она ждёт не час — минуты. Каждый шаг — это её память. Каждый шаг — это её имя. Каждый шаг — это её лицо, которое исчезает. Я не могу ждать, Рагнар. Я не имею права.

Рагнар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и он повернулся к лагерю. — Я построю отряд. Через четверть часа выступаем.

III

Ворн подошёл, когда Эйнар уже затягивал ремни на правой руке — не протез, простую кожаную крагу, чтобы защитить запястье и кулак. Крагу он снял с убитого Ингвара. Чёрная, потёртая, с волчьей головой на нашивке. Она пахла железом, потом и ещё чем-то — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом пустоты. Но в этом запахе, в этом ожидании, в этой пустоте, Эйнар чувствовал не страх — память. Память о том, кто носил эту крагу. О том, кто смеялся у костра. О том, кто пел старую, северную песню о возвращении домой.

— Ты не должен идти, Пустой, — сказал Ворн, и его голос был низким, рокочущим, но в нём появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую просьбу. — Ты едва стоишь на ногах. Твой протез сломан. Ты не сможешь сражаться. Не сможешь

защитить себя. Не сможешь защитить их.

— Смогу, — ответил Эйнар, и он посмотрел на свою правую руку — живую, сильную, с длинными пальцами. — У меня есть правая. Этого достаточно. Этого всегда достаточно.

Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Я остаюсь с ранеными, — сказал он, и он отвернулся. — Но если вы не вернётесь к полудню — я войду. С остальными. И найду вас. Живых или мёртвых. Или не найду — но попытаюсь. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он пошёл к выходу из лагеря, туда, где уже строился отряд.

Ирис стояла в строю. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не жаловалась. Не останавливалась. Она стояла, сжимая в правой руке нож — короткий, широкий, с чёрной рукоятью, который носила с Терновой Гривы. В левой — сумку с бинтами и мазями, последними, которые оставались

на донышке мешка.

— Ты не остаёшься? — спросил Эйнар, и это был не вопрос — утверждение.

— Я нужна там, — ответила Ирис, и её голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Раненые будут. Я должна быть рядом. Чтобы перевязать. Чтобы остановить кровь. Чтобы выжечь скверну. Ты не сможешь без меня. Или сможешь — но я не хочу проверять. Я иду.

Эйнар смотрел на неё долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, — сказал он. — Идём.

Часть вторая. Костры на скалах

IV

Тропа, которую выбрала Лис, была старой, почти забытой — она вилась между камнями, поднималась на осыпи, спускалась в сухие русла ручьёв, и местами её было почти не видно. Но Лис вела уверенно, её единственный глаз —

живой, острый, почти хищный — сканировал землю, стены, горизонт. Она искала след. Не тот, который оставляют обычные люди — чёткий, глубокий, с рисунком подошвы. Другой. Тот, который оставляет тот, кто уже не человек. Тот, кто между. Между памятью и забвением. Между именем и пустотой.

— След свежий, — сказала она, останавливаясь у подножия большого, замшелого валуна. — Не больше четырёх часов. Она прошла здесь. Или её пронесли. Или повели. Следы босые — маленькие, узкие, с длинными пальцами. Её. Я не ошибаюсь.

— Сколько до ущелья? — спросил Рагнар, и его голос дрогнул. Он шёл сразу за Лис, сжимая в правой руке меч. Левая рука, перевязанная, висела плетью, но он не жаловался.

— Час, — ответила Лис, и она подняла голову, посмотрела на Эйнара. В её единственном глазу — живом, остром, почти хищном — был вопрос. Не страх — вопрос. «Ты уверен? Ты знаешь, что мы идём? Ты готов?».

Эйнар не ответил. Не мог. Не хотел. Он просто кивнул — один раз, коротко, резко, как отдают честь. Лис кивнула в ответ. И этого было достаточно.

Они пошли дальше. Тропа сужалась, стены становились выше и чернее, воздух — тяжелее, почти осязаемым. Пахло камнем, старостью и ещё чем-то — металлическим, острым, почти электрическим. Как перед грозой. Как перед битвой. Как перед концом. Эйнар шёл вторым, его правая рука лежала на обсидиановом клинке, готовая выхватить его в любой момент. Левая культя, обнажённая, пульсировала голубоватым светом — слабо, почти незаметно, но достаточно, чтобы Лис видела. Он не прятал её. Не стыдился. Она была частью его. Как шрам. Как имя. Как память, которая умирала, но не хотела сдаваться.

V

Лис подняла руку — сигнал остановки. Её единственный глаз сверкал в сером свете, как уголь, как лезвие, как надежда. Она остановилась на полшага, прислушалась, вглядываясь в серую, каменную даль. Её ноздри раздувались — она чуяла то, что не могли учуять другие. Запах дыма. Не кострового, не того, который пахнет деревом и теплом. Другого. Чёрного, маслянистого, почти живого. Запаха пустоты.

— Там, впереди, — сказала она, и её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — За поворотом. Я чую дым. Не один — много. Они

горят. Не огнём — памятью. Кто-то зажёг их. Не сегодня. Не вчера. Днями. Неделями. Они ждали.

Эйнар подошёл к повороту, выглянул из-за угла. Ущелье расширялось, превращаясь в широкую, пологую чашу, окружённую чёрными, маслянистыми скалами. И на этих скалах, на разной высоте, горели костры. Не оранжевые, не жёлтые, не красные. Чёрные. Глубокие, маслянистые, почти живые. Они не освещали — они поглощали свет. Дым поднимался вертикально, хотя ветер дул с севера, и в этом дыме, в этом ожидании, в этой пустоте, Эйнар увидел движение. Тени. Фигуры. Те, кто смотрел на них сверху.

— Сигнальные костры, — сказал Эйрик, подходя к Эйнару. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, живых, человеческих — была узнавание. — Я видел такие в Западном Домене, когда служил Корвусу. Изгнанники зажигали их, чтобы отпугнуть чужих. Но здесь не отпугивают — здесь встречают. Эти костры — не предупреждение. Они — заявление. «Мы знаем, что вы идёте. Мы готовы».

— Сколько их? — спросил Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице.

— Не считал, — ответил Эйрик, и он покачал головой.

— Но много. Слишком много. Они горят не все сразу — по очереди. Как будто кто-то зажигает их, когда мы подходим. Как будто за нами следят.

Орм подошёл к ближайшей скале, посмотрел вверх. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, человеческих — был страх. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Страх перед тем, что ты видишь себя со стороны. Перед тем, что ты — не ты.

— Там кто-то есть, — сказал он, и его голос дрогнул. — Я видел движение. Тень. Она стояла у костра и смотрела на нас. Не пряталась. Не убегала. Просто смотрела.

— Не смотри на них, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не смотри в огонь. Не смотри в дым. Смотри только вперёд. На тропу. На цель. На Лиру. Костры — это не враги. Костры — это память. Память о тех, кто ждёт. Память о тех, кто надеется. Память о тех, кто боится. Не бойся их. Просто иди.

VI

Они прошли мимо первого костра через десять минут. Он горел на высоте трёх человеческих ростов, в нише, выруб-

ленной прямо в скале. Дым был густым, чёрным, маслянистым, и он не рассеивался — он стелился по земле, как туман, как саван, как память. Лис подошла к подножию скалы, посмотрела вверх. Костёр не имел дров. Не было ни веток, ни углей, ни золы. Только дыра в камне, из которой сочилась тьма, и эта тьма горела.

— Что это? — спросила Ирис, и её голос дрогнул. Она стояла в трёх шагах от Лис, её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески.

— Не знаю, — ответила Лис, и она покачала головой. — Я никогда не видела такого. Даже в Чёрном Пике. Даже в Монастыре. Это не огонь. Это... память. Застывшая память. Та, которую сожгли, но она не умерла. Она горит. Вечно. Или не вечно — но долго. Очень долго.

Эйнар подошёл к костру, остановился в шаге. Поднял правую руку — живую, сильную, с длинными пальцами — и коснулся дыма. Дым был холодным — не просто холодным, а абсолютно холодным, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. Он впитывался в кожу, в память, в имя. Эйнар не отдёрнул руку. Он держал. Крепко. Надёжно. Как обещание.

— Я чувствую их, — сказал он, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Тех, кто горел здесь. Тех, кто смотрел в пустоту слишком долго. Тех, кто не выдержал. Их имена — здесь. В дыму. В пепле. В памяти. Они не забыты. Они не исчезли. Они — моя память. Моя плата. Моё имя.

Он убрал руку. Дым расступился на мгновение, а потом сомкнулся снова. Костёр продолжал гореть. Чёрный, маслянистый, пульсирующий. Он ждал. У него было время. Вечность.

VII

Второй костёр горел на противоположной скале. Третий — выше, почти у самого гребня. Четвёртый, пятый, шестой. Лис перестала считать после десятого. Они были везде — на стенах, на выступах, на вершинах. Они не освещали ущелье — они превращали его в лабиринт теней, в котором каждый шаг мог стать последним.

— Они знают, где мы, — сказал Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Каждый костёр — это глаз. Они смотрят на нас. Они видят нас. Они знают, сколько нас. Они знают, кто мы. Они знают, зачем мы пришли.

— Пусть знают, — ответил Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Это не даёт им преимущества. Они боялись нас раньше. Они будут бояться нас снова. Я — Зеркальный Пророк. Я — тот, кто смотрит в пустоту и не отводит взгляд. Я — тот, кто помнит. Даже когда память умирает. Даже когда имя исчезает. Даже когда пустота зовёт. Я помню. И они знают. Они всегда знали.

Он шагнул вперёд, не оглядываясь. Отряд двинулся за ним. Шаг за шагом. Медленно. Плавно. Почти бесшумно. Только дыхание. Только скрип гравия под сапогами. Только тишина. Которая становилась всё плотнее, всё тяжелее, всё беспамятнее.

Часть третья. Тень, которая знает

VIII

Лис нашла след в узкой расселине, где стены сходились так близко, что можно было идти только по одному. Следы были не только Лиры — босые, маленькие, с длинными пальцами. Рядом с ними, на расстоянии шага, отпечатались другие. Глубокие, широкие, с неестественной чёткостью, как будто их оставил не человек — тень. Неизвестный. Тот, кто

забрал Лиру. Тот, кто коснулся её лица. Тот, кто утянул её в зеркало.

— Они идут вместе, — сказала Лис, и её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Не раздельно. Вместе. Он ведёт её. Она идёт за ним. Не сопротивляется. Не плачет. Не зовёт на помощь. Она идёт, потому что не может остановиться. Потому что он забрал её память. Потому что она забыла, кто она. Или не забыла — но не помнит. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он опустился на корточки, провёл пальцами по следу. Земля была холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, он чувствовал не пустоту — память. Память о Лире. О том, как она училась держать меч. Как она падала, вставала, падала снова. Как она сказала: «Я не боюсь пустоты. Пустота боится меня». — Она боролась. Я знаю. Я чувствую. Она назвала имя Бьорна, когда неизвестный касался её лица. Она не сдалась. Она не забыла. Она — «Волчица». Она не сдаётся.

Он поднялся, стряхнул с коленей налипшую грязь. Посмотрел вперёд, туда, где расселина расширялась, превращаясь в широкую, каменную площадку. Там, на краю площад-

ки, горел ещё один костёр. Он был больше остальных — выше, ярче, чернее. И у этого костра стояла фигура.

IX

Это был не Неизвестный. Не Лира. Кто-то другой. Высокий, сутулый, в длинном, чёрном плаще, который не колыхался на ветру — он висел, как висит знамя в безветренном зале, как саван над могилой, как память над забвением. Лицо было скрыто капюшоном — тёмным, надвинутым глубоко, так, что не было видно ни глаз, ни рта, ни возраста. В руке — посох. Старый, потресканный, обмотанный кожей там, где ладонь натирала мозоли. На поясе — нож, короткий, широкий, с чёрной рукоятью, который носили на севере, в Западном Домене, там, где леса были дремучими, а звери — опасными.

Фигура не двинулась, когда они вышли на площадку. Не подняла рук. Не попыталась бежать. Она просто стояла у костра, и её молчание было тяжелее любых слов.

— Кто ты? — спросил Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

Фигура медленно подняла голову. Капюшон откинулся назад, открывая лицо. Оно было старым, морщинистым, с

глубокими тенями под глазами, которые залегли так глубоко, что, казалось, никогда не исчезнут. Кожа — бледная, почти прозрачная, с сеткой мелких морщин, которые прорезали её, как трещины прорезают старый, высохший лёд. Глаза — тёмные, живые, без точечных зрачков, без пустоты, без страха. Они смотрели на Эйнара с той холодной, оценивающей пустотой, которая бывает у людей, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Меня зовут Хьялмар, — сказал он, и его голос был низким, хриплым, но в нём не было угрозы. Была усталость. Такая же, как у Эйнара. Такая же глубокая. Такая же тяжёлая. — Я — хранитель этого ущелья. Тот, кто смотрит за кострами. Тот, кто ждёт. Я ждал тебя, Зеркальный Пророк. Не день. Не месяц. Годы. С тех пор, как Неизвестный пришёл в эти земли. С тех пор, как он забрал первую душу. Я знал, что ты придёшь. Они все знали. Костры горели для тебя.

X

Рагнар шагнул вперёд, его меч был наготове. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Хьялмара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — была ненависть. Чистая, беспримес-

ная, почти животная ненависть человека, который потерял слишком много своих и не мог простить тем, кто служил пустоте.

— Ты служишь Неизвестному, — сказал Рагнар, и это был не вопрос — утверждение. — Ты зажигаешь костры. Ты следишь за нами. Ты помогаешь ему. Почему мы не должны убить тебя прямо сейчас, здесь, на этом камне?

Хьялмар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Я не служу ему, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Я служу памяти. Костры — это не сигналы. Это могилы. Здесь, в этом ущелье, в этих скалах, в этом камне, похоронены те, кто смотрел в пустоту слишком долго. Те, кто не выдержал. Те, кто исчез. Костры — это их память. Я зажигаю их, чтобы они не исчезали окончательно. Чтобы они помнили. Чтобы их помнили. Я не враг тебе, Пророк. Я — свидетель. Как ты. Как Альрик. Как все, кто носит память, как бремя.

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали,

но боялись признать.

— Ты знаешь, где она? — спросил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Лира. Девушка с чёрной повязкой. Та, кого он забрал. Ты знаешь, где она?

Хьялмар смотрел на него, и в его глазах — тёмных, живых, человеческих — была боль. Не физическая — метафизическая. Боль человека, который видел, как пустота пожирает память, и не мог ничего сделать.

— Она в крепости, — сказал он, и его голос стал тише, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Но она уже не та, кем была. Он забрал её память. Не всю — часть. Ту, что была самой яркой. Ту, что была самой тёплой. Брата. Бьорна. Она забыла его лицо. Забыла его голос. Забыла, как он смеялся. Забыла, как он плакал. Осталось только имя. Только имя. Она идёт за ним, потому что не знает, куда ещё идти. Потому что он — единственный, кто говорит с ней. Потому что она боится тишины. Как все, кто потерял память.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола. Эйнар смотрел на него, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было гнева. Не было обиды.

Не было усталости. Было что-то другое. Понимание.

— Ты можешь помочь нам? — спросил он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

Хьялмар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно покачал головой — не отрицая, не утверждая, а как-то странно, почти печально.

— Я не могу войти в крепость, — сказал он. — Неизвестный не пускает меня. Я — свидетель, не воин. Моё дело — зажигать костры и помнить. Но я могу показать вам путь. Короткий. Опасный. Но короткий. Если вы пойдёте по главной тропе — Неизвестный встретит вас у ворот. Он будет ждать. Он готов. Если вы пойдёте по моему пути — вы обойдёте его ловушки. Но вас будут ждать другие. Те, кто живёт в стенах. Те, кто забыл свои имена. Те, кто стал частью пустоты.

— Веди, — сказал Эйнар, и это был не вопрос — приказ.

Хьялмар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Пророк, — сказал он, и он повернулся к вы-

ходу с площадки. — Идите за мной. И не оглядывайтесь. Костры не прощают тех, кто смотрит на них слишком долго.

Часть четвёртая. Вкус скверны

XI

Хьялмар вёл их узкой, извилистой тропой, которая вилась между камнями, поднималась на осыпи, спускалась в сухие русла ручьёв. Он шёл быстро, почти бегом, и его чёрный плащ не колыхался — он висел, как висит знамя в безветренном зале, как саван над могилой, как память над забвением. Эйнар шёл за ним, его правая рука лежала на обсидиановом клинке, левая культя пульсировала голубоватым светом. Он не спрашивал, куда они идут. Не спрашивал, сколько осталось. Он просто шёл.

Ирис шла за ним, её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не останавливалась. Она шла, потому что если она остановится — Эйнар уйдёт без неё. А уходить без неё он не имел права.

— Долго ещё? — спросил Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в во-

дяной мельнице.

— Недалеко, — ответил Хьялмар, не оборачиваясь. — За следующим поворотом — крепость. Но не подходите близко. Неизвестный чувствует живых. Он чувствует память. Если вы подойдёте слишком близко — он узнает. И тогда — конец. Или начало. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он ускорил шаг.

XII

За поворотом открылась крепость. Она стояла в центре ущелья, на невысоком холме, окружённая чёрными, маслянистыми скалами, которые блестели в свете утреннего солнца, как зеркала, как лёд, как пустота. Стены были чёрными, высокими, с узкими, стрельчатыми окнами, из которых не пробивалось света. Ворота были открыты — широко, как распахнутая пасть, как открытая дверь, как зеркало, которое ждёт.

Но не это было страшно. Страшно было то, что на скалах, над крепостью, на разной высоте, горели костры. Не чёрные, не маслянистые — живые. Оранжевые, жёлтые, красные. Огненные. Человеческие. Они светили. Они грели. Они давали надежду. И в этом свете, в этом тепле, в этой надежде, Эйнар

увидел их. Фигуры. Те, кто стоял у костров. Не тени — люди. Живые. С лицами, с глазами, с именами. Они смотрели на него, и в их глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками, и светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — был страх. Не перед смертью — перед неизвестностью. Они не знали, кто он. Не знали, зачем пришёл. Не знали, умрут ли они сегодня.

— Кто это? — спросила Ирис, и её голос дрогнул.

— Пленные, — ответил Хьялмар, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Те, кого Неизвестный забрал до Лиры. Те, кто ещё не забыл свои имена. Те, кто ещё надеется. Они ждут. Не вас — чуда. Которое не придёт.

Эйнар смотрел на них, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было гнева. Не было обиды. Не было усталости. Было что-то другое. Решение. Он принял его. Не смирился — принял. Как принимают неизбежное, когда понимают, что бороться бесполезно, но и сдаваться — нельзя.

— Мы освободим их, — сказал он, и это был не вопрос — утверждение. — После того, как вернём Лиру. Или не вернём — но попытаемся. Всех. Каждого. Тех, кто ещё помнит.

Тех, кто ещё надеется. Тех, кто ещё жив. Мы — «Серые Волки». Мы не бросаем своих. И не бросаем чужих. Потому что чужих не бывает. Бывают те, кто забыл. И те, кто помнит. Мы помним.

XIII

Хьялмар остановился у подножия холма, у того места, где тропа раздваивалась. Одна ветка вела к воротам — прямая, широкая, вымощенная чёрным, маслянистым камнем. Другая — уходила влево, в узкую, тёмную расселину, заваленную камнями.

— Главный путь — смерть, — сказал Хьялмар, и он указал на ворота. — Неизвестный ждёт там. Он готов. Он знает, что вы придёте. Он хочет этого. Второй путь — короткий. Он ведёт к подземным ходам, к старым тоннелям, которые прорубили ещё до Корвуса. Там нет зеркал. Нет двойников. Только тьма. Только память. Только ожидание. Если вы пойдёте туда — вы сможете войти в крепость с тыла. Но вы не сможете выйти. Или сможете — но не все. Какая разница?

— Никакой, — ответил Эйнар, и он повернулся к отряду. — Мы идём вторым путём. Лис — в разведку. Рагнар — за ней. Остальные — за мной. Ирис — в центре, с ранеными. Хьялмар — ты остаёшься здесь. Ждёшь до рассвета. Ес-

ли мы не вернёмся — уходишь. К перевалам. К союзникам. Рассказываешь всё. О Неизвестном. О пустоте. О кострах. О тех, кто ждёт. Ты будешь нашей памятью, Хьялмар. Нашим именем. Нашей надеждой.

Хьялмар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Пророк, — сказал он, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Я буду ждать. Я буду помнить. Я буду надеяться. Иди. И возвращайся. Или не возвращайся — но не заставляй меня ждать слишком долго. У меня нет времени на вечность. У меня есть только этот день. И следующий. И, может быть, ещё один.

XIV

Эйнар шагнул в расселину. Лис — за ним, бесшумная, как тень, как призрак, как память. Рагнар — за ней, сжимая меч. Ирис — в центре, кашляя, задыхаясь, но не останавливаясь. «Волки» — замыкали.

Тоннель был узким, тёмным, скользким. Стены были покрыты чёрной, маслянистой слизью, которая блестела в свете

факелов, как зеркало, как лёд, как пустота. Слизь пахла железом, серой и ещё чем-то — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом пустоты. Но этот запах был не мёртвым, не выветрившимся — живым. Трепещущим. Почти человеческим. Как будто сама пустота дышала в этих стенах, ждала, слушала, запоминала.

Лис шла первой, её единственный глаз сканировал стены, пол, потолок. Она искала врага. Искала ловушку. Искала смерть. Но врага не было. Только камни. Только пыль. Только тишина. И тени.

Тени на стенах вели себя странно. Они не повторяли движения идущих в точности — иногда замирали, когда люди двигались, иногда тянулись в другую сторону, иногда распадались на несколько частей, а потом снова собирались воедино. Рагнар заметил это первым. Он остановился, посмотрел на свою тень, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — был страх. Не тот, животный, который заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Страх перед тем, что ты видишь себя со стороны. Перед тем, что ты — не ты.

— Они живые, — сказал он, и его голос дрогнул. — Тени. Они не наши. Они — чужие. Они смотрят на нас. Они ждут. Они знают, что мы идём.

— Не смотри на них, — сказал Эйнар, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не смотри в тени. Не смотри в глаза. Смотри только вперёд. На меня. На Лис. На живых. Тени — это не враги. Тени — это память. Память о тех, кто ушёл. Память о тех, кто не вернулся. Память о тех, кто ждёт. Не бойся их. Просто иди.

Они пошли дальше. Шаг за шагом. Медленно. Плавно. Почти бесшумно. Тоннель сужался, становился темнее, холоднее, беспамятнее. Эйнар слышал, как бьётся его сердце. Ровно. Спокойно. Почти механически. Как пульсация пустоты. Как песня пыли, которая больше не поёт. Как ожидание.

XV

Они вышли из тоннеля, когда солнце уже клонилось к закату. Небо было багровым — не кровавым, а тёплым, почти живым. Крепость стояла перед ними — чёрная, высокая, с узкими, стрельчатыми окнами. Ворота были открыты. Ни стражи. Ни двойников. Ни теней. Только пустота. И тишина.

Эйнар стоял у входа в крепость, его правая рука лежала на обсидиановом клинке, левая культя пульсировала голубоватым светом. Он смотрел на чёрный, маслянистый камень, на узкие окна, на открытые ворота, и в его глазах — серых,

усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, было что-то ещё. Не надежда — память о надежде.

— Сегодня мы войдём туда, — сказал он, и его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Сегодня мы вернём её. Или умрём рядом. Так или иначе — это кончится.

— Это не кончится, — сказал Альрик, стоявший в тени у входа. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. В руке он держал пустой мешок из-под пыли Стекла — старый, кожаный, перетянутый ремнями. Мешок был пуст, но Альрик прижимал его к груди, как прижимают младенца, как прижимают надежду, как прижимают имя, которое не хотят забыть. — Пустота не кончается. Она только затихает. Ждёт. У неё есть время. Вечность. Но сегодня — наша победа. Маленькая. Хрупкая. Почти невидимая. Но победа. Мы выжили. Мы помним. Мы идём дальше. Этого достаточно.

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Этого достаточно, — сказал он, и он шагнул в ворота.

За ним пошла Ирис. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и она кашляла — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не останавливалась. Она шла, потому что если она остановится — Эйнар уйдёт без неё. А уходить без неё он не имел права.

За ней — Лис, Рагнар, Эйрик, Орм, «Волки». Они шли молча, и их шаги были тихими, почти бесшумными. Только дыхание. Только запах пота и старой кожи. Только тишина. Та самая, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

Крепость приняла их в свою тень. Чёрную, маслянистую, пульсирующую. Она ждала. У неё было время. Вечность.

Часть пятая. Ночь перед бурей

XVI

Они разбили лагерь во внутреннем дворе крепости, у старого, полуразрушенного колодца. Костры разжигать не стали — боялись привлечь внимание. Люди сидели в темноте, при-

жавшись друг к другу, и их дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Они не спали. Не могли. Слишком много страха, слишком много крови, слишком много потерь.

Эйнар сидел на камне, глядя на башню, где, по словам Хьялмара, держали Лиру. Окна были тёмными. Стены — чёрными, маслянистыми, пульсирующими. Он смотрел на них, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Был холод. Холод человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

Ирис сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она не спала. Не могла. Слишком много мыслей, слишком много страха, слишком много вопросов, на которые не было ответов.

— Ты боишься? — спросила она, и её голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Нет, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Я уже боюсь. Я боюсь не

смерти — забвения. Боюсь, что завтра я поднимусь в ту башню, увижу её пустые глаза — и не смогу помочь. Не смогу вернуть её память. Не смогу вернуть её имя. Боюсь, что она станет пылью. Будет петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение.

— Ты не дашь ей стать пылью, — сказала Ирис, и она взяла его за правую руку — живую, тёплую, настоящую. — Ты помнишь её. А память не даёт исчезнуть. Она держит. Как я держу тебя. Как ты держишь меня. Как мы держим друг друга. Мы не дадим ей исчезнуть. Клянусь.

Она сжала его руку крепче. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — стояли слёзы. Она не вытирала их. Не прятала. Не стыдилась. Она плакала от того, что он снова идёт в бой. Снова рискует. Снова платит. И она не могла остановить его. Не могла взять плату на себя. Не могла умереть вместо него.

XVII

Ночью, когда лагерь затих, а люди уснули — кто на камнях, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла, — Эйнар стоял у подножия башни, глядя на чёрные, маслянистые стены. Луна скрылась за облаками, звёзды погасли — или их не было с самого начала. Только тьма. Только холод.

Только ожидание.

Он вспомнил, как Лира училась держать меч. Бьорн показывал ей, как ставить ноги, как держать спину, как бить. Она падала, вставала, падала снова, но не плакала. Никогда не плакала. Только сжимала зубы и поднималась. «Я не боюсь, — говорила она. — Я не боюсь ни боли, ни крови, ни смерти. Я боюсь только одного — забыть. Забыть Бьорна. Забыть, как он учил меня. Забыть, как он смеялся. Забыть, как он плакал. Я буду помнить. Клянусь».

Она помнила. Она помнила до самого конца. До того момента, когда неизвестный коснулся её лица и начал забирать память. Она не сдалась. Она назвала имя брата. Она попыталась удержаться. Она боролась. Даже когда её тело стало гладким, как стекло, как лёд, как пустота. Она боролась. Она не сдалась. Никогда.

— Я верну тебя, — сказал Эйнар, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Даже если для этого придётся сражаться с пустотой. Даже если для этого придётся умереть. Я верну тебя. Клянусь. Памятью. Именем. Кровью.

Он вынул клочок ткани от её рукава — серый, потёртый, с волчьей головой на нашивке, — прижал к губам. Ткань была

холодной — не просто холодной, а абсолютно холодной, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота. Но в этом холоде, в этой глубине, в этом ожидании, он чувствовал не пустоту — память. Память о ней. О том, как она смеялась. О том, как она плакала. О том, как она держала меч.

Он спрятал клочок за пазуху, туда, где под рубахой билось сердце. Бледно, редко, почти беспомощно. Но билось.

— Завтра, — сказал он, и его голос был твёрдым, почти стальным. — Завтра мы войдём в эту башню. Завтра мы вернём её. Или умрём. Так или иначе — это кончится.

Ирис спала рядом, положив голову ему на плечо. Её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она держала его. Не давила — держала. Как человек держит человека. Как память держит имя. Как надежда держит тех, кто не сдаётся.

И этого было достаточно.

XVIII

На вершине башни, в самом высоком окне, мелькнула тень. Длинная, тонкая, с неестественными пропорциями.

Она стояла и смотрела вниз, на лагерь, на Эйнара, на его спящую фигуру, сжатую у холодного камня. Рядом с ней — вторая тень. Хрупкая, сбитая, с чёрной повязкой на правом глазу. Лира. Она стояла, как вкопанная, и её лицо было бледным, почти прозрачным в свете луны. Но в этом лице, в этой бледности, в этой прозрачности, Эйнар не узнал её. Не потому, что она изменилась — потому, что в ней не было того, что делало её Лирой. Не было огня в единственном глазу. Не было напряжения в плечах. Не было того, как она держала голову — чуть набок, как будто прислушивалась к чему-то, чего не слышали другие.

Она стояла прямо. Глаза её были открыты, но они были пустыми — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками. Как у двойника. Как у тени. Как у пустоты.

— Лира, — прошептал Эйнар, и имя это прозвучало не как вопрос — как молитва.

Она не ответила. Не двинулась. Не посмотрела на него. Она стояла, глядя в пустоту, и в её глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было ни страха, ни надежды, ни усталости. Только пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна.

Неизвестный поднял руку — длинную, тонкую, бледную.

Пальцы его были вытянуты, и они светились в темноте — холодным, голубоватым светом. Светом Стекла. Светом пустоты. Светом платы. Он указал на Эйнара. Один жест. Без слов. Без угроз. Без надежды.

А потом — они исчезли. Растворились в темноте. Стали ничем. Как и те, кому они принадлежали. Только холод на затылке остался. И тишина. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

Эйнар не спал до рассвета. Сидел, сжимая в правой руке клочок ткани от рукава Лиры, и смотрел на башню, на чёрные, маслянистые стены, на узкие, стрельчатые окна. Завтра — бой. Завтра — Лира. Завтра — конец. Или начало. Какая разница?

Он не знал, что будет. Не знал, выживет ли. Не знал, увидит ли завтрашний закат. Знал только, что он должен идти. Потому что если не он — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что он — Эйнар. Зеркальный Пророк. И он не сдаётся.

Ирис спала рядом, положив голову ему на плечо. Её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она держала его. Не давила — держала. Как человек держит человека. Как память держит имя. Как надежда держит тех, кто

не сдаётся.

И этого было достаточно.

Утром — бой. Утром — башня. Утром — Лира. Или конец. Какая разница?

КОНЕЦ ГЛАВЫ 25

ГЛАВА 26. ЛОВУШКА КАМНЕПАД

Часть первая. Узкое горло

I

Ущелье Чёрного Ворона не было похоже на то, что Эйнар видел на картах Альрика. На бересте, прожжённой по краям и потрескавшейся от времени, старый хранитель изобразил широкую, пологую ложбину, по дну которой текла река, а по склонам вились удобные тропы. Река была. Но она не текла — она стояла, чёрная, маслянистая, мёртвая, и её поверхность блестела в лучах утреннего солнца, как зеркало, как лёд, как пустота. А тропы не было. Только камни. Только осыпи. Только узкая, извилистая полоска твёрдой земли между стеной и обрывом, по которой можно было идти только по два, а в самых узких местах — по одному, прижимаясь

спиной к холодному, шершавому камню и стараясь не смотреть вниз, туда, где чернела вода, ожидая, когда кто-нибудь оступится.

Эйнар шёл первым. Его левая культя, обнажённая, перевязанная чистой, но уже посеревшей тканью, пульсировала слабым голубоватым светом — не больно, не тревожно, а как-то привычно, почти уютно, как будто эта пульсация была частью его, такой же естественной, как дыхание, как сердцебиение, как память. Правая рука, живая, сильная, с длинными пальцами, сбитыми костяшками, лежала на обсидиановом клинке, закреплённом на поясе. Клинок был чистым, но Эйнар всё равно провёл пальцем по лезвию, проверяя, не осталось ли на нём пыли. Пыли не было. Только холод. Только пустота. Только ожидание.

За ним шла Ирис. Её лицо было бледным, почти прозрачным в сером утреннем свете, и под глазами залегли тени — не те, обычные, которые проходят после нескольких часов отдыха, а глубокие, чёрные, как вода в колодце мёртвой деревни. Она не спала третью ночь подряд. Не могла. Слишком много раненых, слишком много страха, слишком много надежды, которая умирала, но не хотела сдаваться. Она кашлянула — сухо, рвано, почти нечеловечески. Дым Тоомаса забился в лёгкие, и она не могла откашляться. Но она не жаловалась. Не останавливалась. Она шла, потому что если она

остановится — Эйнар уйдёт без неё. А уходить без неё он не имел права.

За Ирис — Лис. Единственный глаз разведчицы — живой, острый, почти хищный — сверкал в сером свете, как уголь, как лезвие, как надежда. Она не смотрела под ноги — она смотрела вверх, на гребни скал, где тени сгущались и обретали форму, на чёрные, маслянистые костры, которые горели без дыма и без тепла, на узкие, стрельчатые окна крепости, которая всё ещё виднелась впереди, чёрная, высокая, молчаливая. Она ждала. Ждала, когда враг покажет себя. Знала, что он покажет. Не знала только когда.

За Лис — Рагнар. Его лицо — грубое, обветренное, с глубоким шрамом через левую щёку — было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Левая рука, перевязанная после боя в ущелье, всё ещё болела, но он не жаловался. Жаловаться было некому. И незачем. Правая рука сжимала меч — длинный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью, — и его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — не дрожали. Он не смотрел на крепость. Он смотрел на спину Лис, на её чёрный, потрёпанный плащ, на волчью голову на нашивке. Он шёл, потому что если он остановится — умрут те, кто идёт за ним. А умирать он им не позволял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.